

ЕХИШЕ ЧАРЕНЦ

СТРАНА НАИРИ

РОМАН

Этот наирский архаический город всецело походил на все древние и новые наирские города: был мал и немного люден, дряхл и пылен. На современном языке про такие города принято говорить — отсталый уездный городишко. Один бог ведает, когда был основан этот древний наирский город. Но передают, что основателями этого города были древние наиряне быть, широкоплечие и кряжистые халдеи или же густоволосые урартийцы. Думается нам, однако, что это историческое обстоятельство не имеет особенного значения, тем более что от того древнего халдейского или урартийского города ныне, очевидно, не осталось и следа. На месте их глиняных врытых в землю хижин теперь в этом маленьком наирском городишке стоят одноэтажные, двух- или даже трехэтажные постройки: дома и лавки, которые так же походят на те древние урартийские хижины, как, читатель, твой нос похож на... Эйфелеву башню. Из этих новых домов и лавок некоторые имеют даже железные красные или зеленые крыши, — обстоятельство, берущее свое начало в двадцатом веке и новизною своей заслуживающее особенного внимания. В однообразном море приземистых домов и лавок эти железные крыши поражают глаз так же резко, как поразила бы взор в восточной деревушке разукрашенная перьями шляпа европейки. И недаром в этом наирском городе до сих пор с таким необъятным страхом и благоговением говорят про того человека, кто первым покрыл железом крышу своего двухэтажного дома.

Это — всем известный, всеми уважаемый, так называемый генерал Алеш, переваливший за восемьдесят наирянин, с которым читатель будет иметь еще много случаев встретиться в этом моем, подобном поэме, романе.

Дома, как я упомянул уже, в этом наирском городе приземистые, большей частью одноэтажные, с плоскими крышами, — но в море этого однообразия домов и лавок, прямо в центре города высится, словно попавшее из чужого мира или упавшее с небес каменное чудо, — представляете себе?.. — пятиэтажный гигант, некое недоразумение из камня... Знакомый нам учитель приходской школы г. Марукэ Драстаматян — тоже своего рода чудо в этом городе — всякий раз, проходя мимо этого здания, говорит про себя или же собеседнику, если таковой оказывается: «Одно дело мы, другое — европейцы... Да-с». И, окидывая взором необыкновенно маленькие четырехугольные окна пятиэтажного здания, добавляет: «Уж слишком отстали мы!» Так думает г. Марукэ, и он, конечно, прав.

Г-н Марукэ кончил курс местной городской семилетней школы, месяца два-три жил в Берлине — по крайней мере так уверяет он, г. Марукэ. Он питает любовь

лишь к новому и совершенному и абсолютно не выносит старины; поэтому он, вполне резонно, в этом наирском городе пользуется репутацией европейца, и все — стар и млад, — кроме учителя второй приходской школы, товарища Вародяна, — уважают его.

Но город, кроме этого пятиэтажного чудо здания, имел ряд других чудес, коими, к сожалению, не интересовался г. Драстаматян. Однако, что бы там ни думал г. Марукэ, без этих чудес наирский город в глазах самих обитателей его обязательно лишился бы если не всех, то, по крайней мере, доброй половины своих прелестей. И в самом деле, почему не могут считаться совершенным чудом хотя бы крепость или же, скажем, мост Вардана, либо, наконец, церковь Апостолов? А скользкий камень в овраге? Гробница отшельника? Всего не перечесать: это диковины, удивительные чудеса, невероятные творения. Начнем с крепости.

На западном конце города, выше, на желтом скалистом холме угрюмо и мрачно, точно восточный деспот, воссела крепость и со своего скалистого трона смотрит на город. Кажется, будто гигантский каменный ящик всей своей тяжестью упал сверху и повис на холме; сначала гигантский каменный ящик, а затем друг за другом посыпались вниз большие и маленькие, тяжелые и легкие, различной формы сундуки и сгрудились один над другим, друг к другу. Чудеса! Не понимаешь и только поражаешься.

. Говорят, что при постройке этой крепости наирские мастера взамен связующей массы употребляли яичный белок — отсюда и причина ее неуязвимости. Непроступна она, эта крепость, и лишь измена, коварная, низкая наирская измена сдала ее чужеземцам. Одни глупцы могут не поражаться этой крепости, и в числе таких глупцов, да будет нам позволено сказать, — г. Марукэ.

Пусть скажет, прошу я, г. Драстаматян, этот высокомерный «европеец», — чем, чем бы мог защищаться древний город от напора первого же врага, не будь этой крепости? Оттуда, с непреступных стен — лишь возникнет война — должны сыпаться снаряды. Придет день — и оттуда, со скалистых твердынь крепости, обрушится на врага, словно железный кулак, твердая, непобедимая мощь наирского племени! Такой выглядит эта крепость — и, конечно, для понимающего. Вот почему внизу, в городе, спокойны в домах — дремлют там беззаботно и безмятежно. А наирянин лавочник, лениво и беспечно зевая, ждет покупателя. И какое имеет значение то совершенно случайное и временное обстоятельство, что ныне, в 1913 году, на самой высокой башне крепости развевается не наирский, а украшенный орлом флаг! Крепость построили наиряне, но, к сожалению, эта же самая крепость ныне защищает пришельцев.

Настанет день — и они уйдут! И вновь с неприступных твердынь крепости, словно страшная железная угроза, воспрянет наирский дух, мощь, сила тысячелетняя страны наирской... И зажжется вновь неугасаемой веселостью, возликует тысячелетняя страна — Наири!..

Так думали о крепости жившие в этом наирском городе настоящие наиряне, и что бы мог выставить против этого факта какой-нибудь, хотя бы и европеец, г. Драстаматян?..

С обеих сторон крепости, этого гигантского сундука, зигзагами спускаются вниз, к городу, точно чудовищные горбатые верблюды, остатки городских стен.

Прежде, в давно минувшие времена, тут тянулась в виде сплошной цепи каменного верблюжьего каравана прочная стена, которая, спускаясь от крепости, пересекала реку и, охватив весь город, долгое время защищала население от всяких напастей. Ныне же уцелели местами одни лишь горбы тех гигантских каменных верблюдов — кривые, бугристые холмы. Уцелели ныне одни лишь чудо остатки тех древних стен: одни вот тут, прилепившись к стенам крепости, другие там, на берегу реки, третьи далеко-далеко, вне города. Все они покрылись мхом. Несведущий невольно подумает: кто бы мог обтесать, облагородить, покрыть мхом камни этого холма?.. Один же гигантский кусок этой легендарной стены и доселе торчит на середине реки, протекающей через город. Эта застрявшая в реке часть стены и называется теперь мостом Вардана. Думают, что тут был мост, и уверены, что такой мост мог соорудить один лишь воевода Вардан, так как нынешний простодушный наирянин все великое и гигантское, все наирское и победное приписывает Вардану Мамиконяну, этому последнему отважному наирянину, про которого теперь всякий простой наирянин знает лишь, что в четверг на масленой во всех наирских церквях в его память совершается обедня, поется «амперы» и что в тот день у всех наирян есть именинники. Но, конечно, не в этом причина, что мост Вардана в глазах наирян выступает в ореоле таинственного чуда, гигантской красоты. Передают — и об этом знают все, — что утопившиеся в реке собираются в страшной пропасти под мостом. Гигантская каменная груда над пропастью и стоит, — вот в чем дело! Под грудой этой пусто, совершенно пусто. Над этой пустотой, словно стародавнее наирское чудо, перекинут тяжелый и прочный мост — мост Вардана.

В этой необъятной, бездонной пропасти, куда даже вода не решается влиться, живут водяные, ведьмы, буйволы с человеческими головами, огромная водяная змея, считающаяся владычицей моста, его добрым духом, и две русалки. Вот причина того, что ни один горожанин не решается купаться у моста. Случалось не раз с каким-нибудь благочестивым, добрым, умным наирянином, что тот,

проходя ночью поблизости моста Вардана, внезапно чувствовал, что его тянут вниз, к пропасти — зовут, молят, норовят задушить. И сколько раз в праздник Вардана с каменного амвона церкви святого Геворка отец усик предупреждал горожан, что в таких случаях всякий истинный наирянин немедленно должен вспомнить храброго воеводу Вардана и укрепиться верой дедов. Он должен вспомнить те великие цели, во имя которых пал Вардан на Аварайрском поле, и не колебаться. И если он тверд — рассеется, превратится в ветер та злая сила, которая по желанию недруга повисла над мостом Вардана. И мост Вардана обратится для верующего в скинию веры, в добрый дух, в столп Воскрешения... Так не раз говорил отец Иусик. Но обычно случалось, что в самый критический миг исчезало из ограниченного мозга нестойкого горожанина имя Вардана, уступая место пустому пространству, гнетущему ужасу, каковое обстоятельство, кстати сказать, еще сильнее увеличивало чудесную прелесть моста Вардана в глазах горожан. И я не знаю, не могу себе представить, до чего жалким и неинтересным должен был казаться этот наирский город в глазах его обитателей, если бы не мост. Но в этом столь удивительном и интересном древнем городе был примечателен не один только мост. И если бы было предложено населению отказаться от одного из чудес города, то еще вопрос, — не отказалось ли бы оно от моста Вардана в пользу церкви Апостолов? Я этим хочу сказать, что, несмотря на то что мост Вардана был столь близок сердцу горожан, не меньшее значение имела для тех же горожан церковь Апостолов. Для этого древнего города церковь Апостол лов — величайшее и заветнейшее чудо, краса и диво, и, кроме нее, для горожан нет другого дива, более пленительного. В этом наирском городе церковь Апостолов то же, что душа для тела, мозг, глаза или сердце для организма. Короче, церковь Апостолов для населения этого города была то же, что для парижан Нотр-Дам. Севернее крепости, внизу, на склоне горы висела церковь Апостолов, точно изваянная из камня серая птица. Церковь Апостолов походит на птицу сверху, когда вы смотрите с крепости, но вблизи она производит впечатление сидящего вардапета (монаха). Сидит на склоне горы этот каменный старый вардапет, сидит века и будет сидеть, покуда существует мир и в беспредельном мире — страна Наири. Наверху, на оконечности купола — крест, простой двукрылый наирский крест. Начиная с креста, спускается, подобно обращенному вверх призматическому волчку, купол на гигантский каменный сундук. Такова церковь Апостолов. Чудо, не постигаешь — до того она проста. Но чтоб читатель ясней, отчетливей представил себе пленительную простоту церкви Апостолов, я очерчу тут ее приблизительную внешность. Вот она: Проста, ясна эта церковь, — в ней будто нашел свое олицетворение дух наирский. Снаружи она проста,

незатейлива, но для понимающего — как она величественна и необозрима!.. Я расскажу тебе, читатель, про церковь Апостолов точно так, как рассказывали мне: хочешь — поверь, хочешь — смейся. Однако я забыл сказать, почему церковь эта называется церковью Апостолов, — именно отсюда и начинается все чудесное и поразительное этой церкви.

На каменных стенах купола этой каменной церкви, снаружи, наирский мастер изваял образы двенадцати апостолов — в одиночку, бок о бок. Понимаете вы? Высек он на камне чудесные образы! Все еще доселе ясно смотрят на зрителя с отдающих древностью, покрытых мхом стен купола — они, эти высеченные на твердом, сухом наирском скалистом камне чудесные образы. Внимательный зритель заметит и то, что черты лица одного из апостолов изваяны небрежно: отсутствует нос, а взамен глаз смотрят сверху две черных безобразных дыры. То образ Иуды — скажет вам сведущий. Его наирский христианин-мастер представил в образе чудовища. Но как будто на церкви и не было высечено образа Иуды, ибо, хотя церковь эта и называлась официально церковью Двенадцати Апостолов, народ упорно зовет ее церковью Одиннадцати Апостолов — и народ прав: он не считает Иуду, он не принимает его в расчет. Однако, если, бы народ не считал и всех двенадцати апостолов, все же церковь Апостолов ничего не потеряла бы от своей вековой прелести. Ибо одно дело ее прозвание, другое — прелесть. И то, что я сейчас расскажу тебе, дорогой читатель, пусть не покажется басней или пустым измышлением. Если как-нибудь случайно попадешь ты в этот город, расспроси про церковь Апостолов, и тебе каждый местный житель расскажет то же самое, что я собираюсь тебе рассказать, а может, расскажет и больше. Дело было так.

На расстоянии двухсот-трехсот шагов от церкви Апостолов, по дороге, ведущей в церковь, и доселе стоит полуразрушенный домик. Стены его все еще держатся, но крыша обвалилась; ныне он походит на груды песка, невзрачную развалину. Всего двадцать—двадцать пять лет. назад домик этот имел дверь и окна, и в его сырых, низких комнатках жил беженец, ныне своим именем всем известный, — Тато из Муша. Человек этот был несчастен: в одном из далеких наирских городов во время погрома он потерял свою семью; босой и голый, он добрался до города и по счастливой случайности нашел приют в этом, находящемся у церкви, домике. Жил Тато из Муша в домике этом и ничего не замечал. Но вот однажды встречается на базаре с одним из своих земляков, недавно приехавшим с далекой родины. Рассказывает тот ему страшные вещи. Рассказ все о том же — резня, резня и резня, изнасилованные женщины, пропавшие дети. Затем — бегство, чужбина, беспросветная нужда. Слушает его Тато из Муша и вспоминает свое, — вспоминает жену, детей. Заходят они

вместе в кабаки и начинают пить горькую, отдающую кровью наирскую водку. Тато начинает рассказывать приятелю о городе. Выходят они, качаясь, из кабака и видят крепость, мост Вардана, церковь Апостолов. Говорит ему приятель, что настанет день, когда вновь воспрянет и вырвется из тьмы дух наирский и грозно обрушится на голову врага железная месть. Этак беседуя, приходят они в домик Тато и ложатся спать. Но вот среди ночи Тато кажется, что кто-то зовет его сладким голосом. Зовет его кто-то из погреба. Встает Тато, будит товарища, и они вместе, при свете лампы, спускаются вниз в сырой, душный страшный погреб. На минуту они остановились, поражен из-за земли, снизу, внятно и отчетливо. Глядят вниз, а там, думали, что это дверь. Тато ставит ногу на мельничный камень — перед ними открывается темное подземелье, откуда несется густой влажный ветер. Смотрят — ступеньки. Берут лампу и спускаются. Вот кончаются ступеньки, и перед ними темный ход. Идут по нему, идут долго — ход расширяется. Но вот вновь ступеньки. Поднимаются по ним — и вдруг... они стоят в церкви Апостолов. Вот амвон, ризница, вот темно-голубой занавес с золотым крестом на нем. Вот купель, в которой крестят детей... Теряются в догадках. Подходят к дверям, хотят выйти — они закрыты. От страха бегут назад. Идут по тем же ходам, идут долго, и вновь — ступеньки. И вдруг над головами, внизу, вокруг — отовсюду слышат глухое журчанье воды. Поднимаются по ступенькам и выходят... Чуть не потухает лампа от ветра и сырости. Где они? Не понимают. Чувствуют лишь, что стоят на какой-то возвышенности. Внизу — река, несущаяся со страшным ревом, наверху — небо; темная, сырая ночь. И видит Тато, что они стоят на остатках холмообразной стены, посередине реки. Мост — местные жители называют — мост Вардана. Из недр вод несутся песни ведьм: песни ли то или шум воды? И внизу, в густой, непроницаемой мгле извивается блестящая змея — добрый дух моста. Из ревуших вод выходят и оглушают зычным ревом водяные буйволы — страшно, жутко... Стремглав бросаются приятели вниз, бегут, и вот вновь — ступеньки. Их не счесть, так много их!.. Взбираются по ним долго, долго, и вот опять вышли наружу. Кругом небо, звездный туман. Внизу — верно, город: мерцают желтые, пугливые огни. Далеко, далеко слышно глухое, печальное журчанье воды. Под их ногами крепость: каменные сундуки спят сном тяжелым, страшным. Стоят они на высочайшей башне крепости; дует стремительный, пронизывающий холодный ветер, и совсем близко развевается кусок тряпки — знамя крепости. Жаль — темно. Будь день — увидели бы они на желтом полотне двуглавого орла — златотканое страшилище. Но темно, ночь — не видно. Дует свирепый ветер, сбивает с ног — вот-вот упадут. Что они там застряли, чего им надо? Обезумевшие от ужаса, бросаются вновь к ступенькам, спускаются вниз,

попадают в подземные ходы и бегут, еле переводя дух. И, вспотевшие, внезапно, как бы случайно, попадают опять в свое подземелье; взбираются в комнатку Тато и засыпают мертвецки. Спят они сном горьким, тяжелым, но просыпаются утром бодрые, воодушевленные. Рассказывают про происшествие всем — и все диву даются. Находятся люди, которые это случайное событие считают таинственным знамением, началом бдения. Близок, говорили они, час возрождения. И вызвали они Тато и его друга и строжайше запретили рассказывать об этом кому бы то ни было. Но теперь, по прошествии двадцати — двадцати пяти лет после того знаменательного события, о ходах и ступеньках в церкви Апостолов и в мосту Вардана знают все — даже дети. Об этом, конечно, не говорят, строжайше запрещено говорить об этом. Забыл я сказать, что, когда по неосторожности Тато и его друга правительство узнало тайну о церкви Апостолов, оно отняло у наирян церковь, а Тато и его друга сослало в Сибирь, где они и погибли в мрачных казематах. Вот что представляет собой церковь Апостолов! Забыл я сказать также и о том, что, кроме упомянутых выше чудес, в церкви Апостолов похоронены наирские цари, и когда, после наложения ареста на церковь, разобрали пол церкви — внизу, под каменной плитой нашли уйму сокровищ...

Эх, читатель, история эта давно минувшая и темная — всего не расскажешь. Цари наирские были мудрые, хитрые, богатые и гордые: таких царей ныне нет. Мудрые, хитрые, богатые и гордые — они, к сожалению, были себялюбцы и драчуны... Если бы не это, почему должно было погибнуть их государство и превратиться в развалины страна Наири?.. Куда делись ныне чародеи наиряне, где тысячетная Наири?.. Нет их, ничего не осталось ныне. Даже этот сохранившийся древний наирский чудо-город, в прошлом считавшийся тронным, мать- городом, стародавним центром, ныне превратился в отсталое уездное логовище, куда ссылают из столиц на поселение уличенных в злоупотреблениях разбойников- чиновников...

Описав три древних чуда города, мы перейдем к новым его чудесам. Этак мы постепенно подойдем к обыденной жизни, и мало-помалу предстанут перед нами живущие ныне в этом древнем городе все значительные и незначительные наиряне.

Самая большая новость ненаирского происхождения, показавшаяся местному населению вначале непонятной, — это железная дорога, проложенная в пору владычества русских — лет двадцать назад. Больше половины населения и по сию пору помнит тот незабвенный день, когда по железной дороге, проложенной из неведомых далей до этого города, впервые подошел к новому вокзалу поезд. Были шумные пиршества, царила радость. Находились люди,

которые от удивления и восторга лишались способности говорить — отнялся у них язык. Многие помнят даже такие интересные подробности, как то, что паровоз был украшен зеленью и цветами, а над фонарем развевался флаг с золотистым двуглавым орлом. С какой помпой и весельем подошел поезд к городской станции, где собралось почти все население города — радостное, в праздничных нарядах — встретить поезд. У станции играл военный оркестр; приветствовали поезд именитые наиряне и высокопоставленные чиновники: уездный начальник, его помощник, начальник военного управления, генерал Алеш, отец Мазута Амо — Аракелага, — можно ли забыть обо всем этом?..

Несмотря, однако, на то, что с этого примечательного дня прошло двадцать — двадцать два года, несмотря, повторяем, на эти длинные-предлинные двадцать—двадцать два года, — и доселе можно найти в городе очень и очень много честных и нечестных наирян, которые — представляете вы себе? — не только не ездили в поезде, но даже смотрят на паровоз как на некую диковину. Например, известному во всем городе гробовщику Еноку и сейчас кажется удивительным, как это люди, не прибегая к помощи волов и лошадей, сидя в вагоне, передвигаются с места на место по неодушевленному железу. И до сей поры по воскресным дням можно встретить двух почтенных наирян, которые, совершая свой воскресный моцион (после городского сада, железнодорожная станция служила вторым местом для гулянья в этом наирском городе), стоят перед полотном железной дороги, занятые следующей беседой:

— Посмотрите-ка, что только не делает эта чертова кукла русский! — говорит один, лениво ударяя ногой о железный рельс и с масляной улыбкой на лице слушая приятный звук рельса.

— Куда можно выйти, ежели этак поедешь?..

— Куда хочешь, туда и поедешь, — отвечает другой.

— В Московию выедешь?

— Ну да, конечно.

— А в Киив?..

— Можно и в Киив...

И наступает благоговейное молчание и удивление.

Вторая новость, также ненаирского происхождения, перед которой так благоговевут все горожане без исключения и коей обычно так восторгается учитель приходской школы Драстаматян, — это то пятиэтажное гигантское здание, что стоит посредине города, точно чудовищное величие, каменное благоговение. Да, именно каменное благоговение, ибо здание это, кроме своих гигантских размеров, замечательно еще благодаря иному, более существенному — весьма существенному обстоятельству: тут, в этом

единственном строении сосредоточены наиболее влиятельные учреждения не только города, но и уезда. Тут сидят: уездный начальник, полицмейстер, здесь находится уездное воинское присутствие, в этом же здании находятся, наконец, почта-телеграф и государственное казначейство. И все же не мог всего сосчитать. Забыл самое необходимое учреждение — то, без которого это легендарное здание утратило бы добрую половину своей прелести и в особенности своей устрашающей важности... Дело в том, что в первом этаже этого пятиэтажного здания, в самом конце коридора, можно сказать, в самой заброшенной части здания, есть комнатка... Боже упаси, читатель, туда попасть: раз попав — больше не выйдешь оттуда. Темное место — так называют горожане эту комнату, хотя комната и достаточно светлая — имеет два окна и три электрические лампочки. Закрепило за комнатой эту таинственную репутацию не отсутствие света, а, кажется, то обстоятельство, что у перешагнувшего через порог этой комнаты от ужаса темнеет в глазах. Вот особенность этой таинственной комнаты, дорогой читатель,.. И в значительной степени этой комнате нужно приписать то таинственное уважение, которое чувствует всякий горожанин, проходящий мимо этого здания. И не з этим ли нужно искать причину того, что это пятиэтажное здание стало своего рода всемогущим центром, или, лучше сказать, осью, вокруг которой вертятся город и уезд, и не могут не вертеться. Бесспорная аксиома, что во вселенной всякая точка может считаться центром, опровергается с удивительной легкостью в данном случае, как и во всех подобных случаях, когда речь идет о человеческой жизни и общественных установлениях. Да, именно центром города, и притом единственным, является это пятиэтажное здание — и вместе с тем он, город этот, не может иметь другого центра. Пусть сколько угодно учитель приходской школы товарищ Вародян убеждает барышень, что в отношении вселенной центром может считаться даже харчевня Бочка Николая, — пусть говорит т.

Вародян что ему угодно, — мы не изменим нашего мнения и с уверенностью будем настаивать, что именно это пятиэтажное здание есть единственный центр в этом наирском городе и во всем уезде и именно отсюда исходят, подобно голубым искрам электричества, и расходятся по всем направлениям решения и приговоры. Тов. Вародян, конечно, это лучше нас знает, но все же продолжает заниматься софистикой, дабы прослыть в глазах барышень милым, дерзким и отважным. И как же может этого не знать т. Вародян, когда он на собственной своей шкуре испытал непосредственное влияние этого всемогущего центра.

Следует, однако, заметить, что выражение «на шкуре» надо понимать

буквально. Всем хорошо известный содержатель кофейни Телефон Сето, тот самый, чья кофейня находится на улице, именуемой Лорис-Меликовской, — он клянется именем Иисуса, что в бане случайно заметил на спине т. Вародяна... интересные следы. Где же, скажите на милость, спина т. Вародяна могла украситься интересными следами — синими полосами, если не в этом всемогущем центре? Если же т. Вародян не признается в этом и многозначительно намекает на свою причастность к Товариществу трудно в этом случае пускаться с ним в спор. Даже дети и те знают, что Товарищество — центр, и притом центр более всемогущий и страшный, лучше сказать, незримый, «математический» центр, долженствующий низвергать султанов, шахов и царей.

По словам т. Вародяна, пятиэтажный центр воздвигнут на страхе, насилии, крови и недоразумении, — в противовес ему центр Товарищество каменный, гранитный, — он зиждется на незыблемых основах научного социализма. Следовательно, ясно, как дважды два, что пятиэтажный центр — ничто, а Товарищество — факт, неумолимая правда, голая истина. Так рассуждает т. Вародян — и он прав. Спросите любого ребенка, да, именно ребенка, и он безошибочно покажет место этого «сверх-центра» — мост Вардана. Собственно, буквально, не мост, а домик напротив, построенный на берегу реки, полуразрушенный и ныне пустующий. С историей таинственного разрушения этого домика и связана история спины т. Вародяна.

Вот, дорогой читатель, эта история.

Однажды ночью, часа этак в три, оконные стекла всех домов города сильно зазвенели, и в тот же миг раздался страшный, оглушительный взрыв. Горожане в ужасе высыпали из домов и побежали в поле, к кладбищу: думали, что землетрясение, кара божья. Но весть эта скоро вытесняется другим страшным слухом — будто взорвалась крепость, будто в мгновение ока вся крепость взлетела в небо. Многие же были того мнения, что взорвалась церковь Апостолов, ибо всякому известно, что там под каменной плитой наирскими мастерами зарыта тысяча пудов динамита... А известный ресторатор Бочка Николай, тот, что по Лорис-Меликовской улице содержит общедоступный духан, говорил своему соседу, гробовщику Еноку, что, видимо, началась война, а они не знали об этом, — люди-де они простые — откуда могли знать. Но вскоре выяснилось, что эти предположения ошибочны. «Кабы так!» — сам себя мальчишески опровергая, говорит до сих пор т. Вародян. По-нашему же, хорошо, что всего этого .не было, а взорвался — представляете вы себе? — мост Вардана. Собственно, не самый мост, а тот загадочный домик, о котором мы упоминали несколько выше. В домике взорвалось три пуда динамита!.. На

следующий же день войска и полицейские из-под обломков извлекли четыре обуглившихся трупа, скорее, остатки трупов. То были: известный всем Карабахец Никол — учитель, Маргар из Муша — содержатель кофейни, Рус Абраам — агент тайной полиции и варжапет Каро — тот самый, о котором т. Вародян обычно говорил с благоговением: «товарищ Каро». Вот почему, дорогой читатель, Товарищество считается центром, и притом «сверх-центром». И какое же еще, кроме положительного, значение может иметь то обстоятельство, что влияние динамита, взорвавшегося в домике, косвенным образом отразилось на спине т. Вародяна в виде рисунка, сотканного из синих линий?

В другом, не имеющем в глазах т. Вародяна значения «центре печали» (как называет т. Вародян пятиэтажное здание) имела место героическая борьба, неукротимый бунт, с одной стороны (читай — со стороны т. Вародяна) ; насилие, кошмар, желтое рабство — с другой (со стороны русских). Как раскаленный позор, сыпались на спину т. Вародяна удары шомпола, и он, встав, вышел из «центра печали» закалившийся, очистившийся, словно отточенный клинок кинжала, и устремился бунтарский дух его ввысь, как победитель... Вот что было!..

Но одного не может доселе забыть и простить себе т. Вародян — это того, что там, в «центре печали», или же, как называет с благоговением народ, в темном месте, сам т. Вародян, как перед поркой так и в особенности во время порки, — представляете вы себе? — раскаялся по-детски и сказал, что его участие в этой глупой истории было совершенно случайным. И что же он сделал в конце-то концов? Написал т. Каро наивное письмецо и попросил у него «Логику толпы» — вот и все. Письмецо-то было найдено в кармане Каро, а т. Вародян должен пострадать, — что за абсурд! «Неосторожность глупого революционера», — подумал т. Вародян в час испытания. И он долго еще не прощал себе этот овечий страх, эту позорную слабость, которая может лечь черным пятном на неподкупную совесть всякого подлинного революционера, Слава богу, что об этом, по крайней мере, никто ничего не знает. Тов. Вародян дал себе слово смыть когда-нибудь это черное пятно со своей совести делом, достойным подлинного революционера, — но мы уж слишком растянули историю совести т. Вародяна. Вернемся к городу.

Кроме пятиэтажного здания — этого так или иначе всемогущего центра, — в городе имеется целый ряд разбросанных там и сям более или менее заметных и незаметных центров: больница, городской клуб, мужская гимназия, женская гимназия, две приходские школы. Мы забыли отметить присутствие мирового судьи, тюрьму, публичный дом, за что настоятельно просим быть

снисходительным к нам. Казармы и публичный дом не относятся к городу: они находятся по ту сторону железной дороги, у кладбища, так что эти два «учреждения» по вполне понятным обстоятельствам оставляются нами без внимания. Впрочем, городская больница тоже находится почти вне города: это низенький одноэтажный домик, ютящийся на окраине города на углу грязной и узенькой улицы. Больница такая же грязная и сырая, как и улица. Врач больницы, Сергей Каспарыч, не раз собирался перевести больницу в город, но всегда случалось так, что осуществлению этого его человеколюбивого намерения препятствовало какое-нибудь важное обстоятельство: либо он сам болел, либо жена уездного начальника, а в последний раз, когда здание было уже готово и были даже начаты переговоры как с хозяином дома, так и с пятиэтажным центром, — откуда ни возмись, обрушилось на голову врача для него совершенно неожиданным, а для горожан вполне «ожиданным» образом невероятное несчастье: красивая, как Леда, молоденькая жена врача совершила самоубийство... в клозете. Голая, совершенно голая, как говорится, в костюме Адама (Евы) вошла она в клозет и покончила с собой — не револьвером или же, как принято в подобных случаях, при помощи какого-нибудь яда, а... поразительное, непостижимое дело! — разобрала пол клозета и бросила себя... понимаете — куда? После этого ужасного, отвратительного, безобразного, непостижимого и буквально сатанинского несчастья врач навсегда отказался от своих человеколюбивых намерений и начал в клубе, где до несчастья для времяпрепровождения и успокоения нервов играл лишь в преферанс, после несчастья играть и баккара, макао или же местную игру — цхра, чем в значительной мере мог успокоить свои довольно-таки сильно расшатанные нервы. И когда после этого кучер врача, в меру вознаграждавшийся больницей, стал с приглашавших врача на дом пациентов брать «за езду» по полтиннику, то никто из горожан не посмел сердиться на кучера. И не к чему было сердиться: уж слишком велико было несчастье, разразившееся над врачом.

Но надобно заметить, что не одно только это изменение произошло тогда в делах врача, а случилось и то, что отправлявший доселе в больнице обязанности простого сторожа Аршак из Битлиса получил в той же больнице должность ответственного, или, как говорят, дежурного фельдшера, чем была создана для него возможность оказывать во всякое время медицинскую помощь всем, нуждающимся в услугах врача. Обстоятельство, без которого в былые дни очень и очень много неимущих больных днями ожидали осмотра, валяясь у стен больницы, тщетно рассчитывая на помощь и участие. Нет худа без добра, — гласит народная мудрость, и этот случай лишний раз подтвердил

нерушимую истинность этой вековой мудрости. Особенно же не следует забывать и того, что, решившись на этот человеколюбивый поступок, то есть на назначение Аршака из Битлиса фельдшером, врач в сущности ее иге подтвердил существовавшее с давних пор. Дело в том, что битлисец Аршак давно занимался медицинской практикой и даже пользовался значительной популярностью не в одних лишь отсталых районах города, куда довольно-таки часто совершал свои рейсы Аршак из Битлиса, или же, как величали его крестьяне, — «дохтур Аршак». Ежегодно, в понедельник третьей недели великого поста можно было видеть Аршака из Битлиса на деревенской двухколесной телеге, совершавшего рейсы по ближайшим деревням, откуда он возвращался всегда во вторник на страстной, на той же двухколесной телеге, но уже нагруженной маслом, сыром, яйцами и несколькими беленькими ягнятами. Довольно приличная часть их отправлялась в дом врача как пасхальное «дарение» от благодетельствованного слуги, так что врач имел все моральные и юридические основания для совершения этого человеколюбивого поступка. Удостоив по заслугам самого последнего своего служащего, он тем самым освободил свои слабые плечи от незначительной части чрезвычайно трудных и ответственных обязанностей городского врача, дабы предоставить освободившуюся часть плеч тяжести вышеупомянутого семейного несчастья, для несения которого поистине были необходимы более или менее облегчающие средства. Говорят, что в деле изыскания этих средств огромную моральную помощь оказал врачу, Сергею Каспарычу, его давнишний приятель и партнер по карточной игре, мировой судья города, Осеп Нариманов, тот самый, что является другом упомянутого уже в начале рассказа самого уважаемого в городе богача генерала Алеша, по словам которого Осеп Нариманов — «душа-человек, настоящий душка»...

Его присутствие находится на самой большой — Александровской улице. Оно имеет жестяную вывеску, на которой написано по-русски — «Мировой судья». Тут сидит Осеп Нариманов. Рядом с присутствием в трехэтажном доме помещается реальное училище; за два дома от него — женская гимназия, а за три дома от гимназии величаво высится дом-дворец, принадлежащий уже достаточно вам известному генералу Алешу. Генерал Алеш, самый богатый человек в городе, получивший, не будучи ни генералом, ни даже военным, это почетное прозвище благодаря занимаемому им в городе положению и большому влиянию. А чтобы дать более или менее приблизительное представление о положении, им в городе занимаемом, достаточно сказать, что у него останавливается губернатор всякий раз, когда посещает город, — вот кто таков генерал Алеш! Мировой судья Осеп Нариманов, который живет в нижнем

этаже дома-дворца генерала Алеша, любит рассказывать в клубе в его, генерала Алеша, присутствии, как губернатор, войдя впервые в дом генерала Алеша, изволил высказать мнение, что с таким вкусом обставленная квартира сделала бы честь даже Петербургу, да, именно Петербургу... И, рассказывая об этом, мировой судья Осеп Нариманов причмокивает губами, а присутствующий при этом генерал Алеш от восторга моргает глазами и смотрит на пол: словно от скромности хочет провалиться сквозь землю. «Душа-человек — этот Осеп Нариманов!» — думает он.

И на самом деле, мировой судья, как русские говорят, душка, настоящий душка. Несмотря на то что родился в Астраханином — представьте себе — до того сжился с этим наирским городом, точно был из него родом. Вот причина того, что он многие дела, как-то: споры, домашние дразги, семейные неурядицы и тому подобные незначительные тяжбы — любит сглаживать не как государственный чиновник, а, так сказать, семейным образом, или же, вернее, по-отечески, за что вполне резонно пользуется уважением всех горожан. Со стороны же живущих в окрестностях крестьян это уважение выражается в виде приносимых с глубоким благоговением даров — десятка яиц, десяти-двенадцати фунтов неснятого сыра или же порою, в особенности если дело рассматривается накануне пасхальных праздников, двух-трех ягнят или же козчиков. Он не любит затягивать дела; отвращение питает к служебной волоките. Не такой человек Осеп Нариманов и не хочет быть таким. Будь у него возможность и если бы позволяло физическое здоровье — с большим удовольствием бросил бы он и город, и службу мирового судьи и переселился в какую-нибудь деревню, дабы заняться земледелием. Осеп Нариманов очень любит земледелие, в особенности же живительные продукты этого божественного занятия, и о земельном вопросе любит высказать довольно-таки либеральные суждения. Любопытный человек Осеп Нариманов, только нужно его понять!

Рядом с присутствием мирового судьи, как было сказано, помещается реальное училище, а дальше за два дома — женская гимназия. Необходимо заметить, что эта часть города представляет собой настоящий «воспитательный центр». Здания обеих школ принадлежат известному уже нам генералу Алешу, и каждое утро, когда он вместе с мировым судьей, Осепом Наримановым, проходит мимо школ, инспектор реального училища Арам Антонович Раздувальный (так называют инспектора школы Арама Антоныча шалуны-школьники по причине непомерно большой величины его живота) приветствует сверху, из окон директорской: «Мое глубокое почтение Алешу Никитичу! Осепу Карпычу тоже!» Питомцы школы много раз слышали это любезное приветствие

своего сурового инспектора по адресу вышеназванных лиц, и, быть может, это и служит отчасти причиной тому, что они, воспитанники школы, с особым уважением относятся к генералу Алешу и Осепу Нариманову. Говорю я «отчасти», так как для уважения упомянутых почтенных граждан у великовозрастных воспитанников реального училища имелись и другие, вполне веские причины. Так, когда на пасху или на рождество в училищном зале устраиваются ученические вечера — кто восседает в первых креслах, рядом с уездным начальником? Генерал Алеш и Осеп Нариманов. Или же, когда после раздачи сахарных бабочек и разноцветных конфет, висевших на светящихся ветках елки, ученики расходятся по домам и на ужин остаются одни лишь гости и учителя — кто обычно отсутствует, встает из-за стола и, шушукаясь, расхаживает по темным классам? Жена инспектора Ольга Васильевна — Желтокудрая Тыква (как называют ее ученики) и Осеп Нариманов. А затем Алеш Никитич: то под руку с учительницей женской гимназии Душкой Варей, то обнявши за талию Цыпленка — жену преподавателя математики, Барсега Абгарыча. Все это видел своими собственными глазами ученик пятого класса Варданян Сергуш и рассказывал своим товарищам со всеми подробностями. Спустя неделю после подобных происшествий обычно на стенах клозетов реального училища и женской гимназии появляются довольно-таки любопытные писания в форме стихов и прозы, которые слишком быстро распространяются из уст в уста и не только в стенах упомянутых школ, но и под семейной кровлей домов, очень и очень далеко отстоящих от этих стен, а иной раз даже в кофейне Телефона Сето. А разве не они, генерал Алеш и Осеп Нариманов, виноваты в том, что доселе «не удостоившиеся венца» учительница приходской школы ориорд Сато имеет всего пятиклассное свидетельство и, как не окончившая среднюю школу, получает низший оклад? Они и всегда они — генерал Алеш и Осеп Нариманов! Любопытный уголок этот наирский город. Он имеет загадочных и любопытных мужей, и занимательна его история... Но интересней и примечательней перечисленных выше официальных центров неофициальные, если можно так выразиться, центры города, хотя они по большей части не пользуются, подобно первым, мистическим уважением населения. Однако чем хуже и почему не может считаться общественным учреждением хотя бы, например, церковная свечная лавка, все свечи которой носят на себе настоящую наирскую печать. Повторяю, напрасно наивные горожане свысока смотрят на церковную свечную лавку: она — центр и, каким бы преувеличением ни казалось это, — центр важный. Тут возбуждаются и здесь получают санкцию все вопросы, касающиеся церквей и приходских школ. Эта внешне невзрачная свечная лавка, скромно уютаясь в самом глухом углу

улицы, в общественной жизни города, в сущности, играет ту же значительную роль, какую играют в цивилизованных странах политические клубы и салоны. Для такой роли свечная лавка располагает всеми удобствами: тут тепло, находится она в центре города и, что самое главное, свободна от посторонних посетителей: едва заглядывают в эту лавку в неделю один, самое большее — два покупателя. Так что ни один посторонний человек не мешает собирающимся тут варжапетам и попечителям. И они, пользуясь в полной мере этими удобствами, часто играют тут в нарды либо в карты на какую-нибудь снедь или же на бутылку-две вина: покупает тот, кто проигрывает. Но вы знаете, между прочим, почему свечная лавка не имеет посторонних посетителей? Об этом даст вам сведения хорошо известный в городе содержатель кофейни Сето, который удостоился благодаря тому, что он в курсе всех городских событий, со стороны горожан прозвища Телефона Сето. Этот почтенный горожанин рассказывает, что при крестинах ребенка сапожника Симона, когда он как крестный хотел было зайти в свечную лавку купить пару свеч, священник церкви св. Геворка, Иусик Пройдоха, тихонько потянул его за рукав: «Нет никакой нужды покупать свечи в свечной лавке, — сказал отец Иусик Пройдоха телефону Сето, — можно взять в церкви — там и дешевле, и церкви выгоднее!» Вот почему это национальное учреждение — церковная свечная лавка — не имеет покупателей.

Но как подлинный «политический клуб», и притом для одних лишь варжапетов и попечителей, а для всех, интересующихся национальными делами, — именно какой общественный центр — известна в городе контора местного представителя нефтепромышленного товарище- «та «Свет» — учреждение, с полным правом могущее называться «центром наирских дел». И это благодаря представителю товарищества «Свет» Амо Асатурову, которого по роду его занятий в городе коротко называют /Мазутом Амо. Несмотря на то что представитель «Света» Амо Асатуров — Мазут Амо самый близкий приятель уездного начальника и единственный утешитель его пожилой жены, Агриппины Владиславовны, в этом «изводящем, отвратительном и глупом» городе, с другой стороны, несмотря на то что в свою очередь уездный начальник постоянный гость в гостеприимном доме Амо Амбарцумонича, в особенности когда бывает дома не сам Мазут Амо или же его жена Ангина Барсеговна, а их дочка, восемнадцатилетняя Черноокая Примадонна, — повторяю, невзирая на эти сложные семейные обстоятельства Мазута Амо, а может, и благодаря этим именно обстоятельствам, Мазут Амо является и будет центральной личностью этого наирского города, — и ни один национального или общественного порядка вопрос не может быть возбужден и не может получить дальнейшее

движение без санкции его, Мазута Амо, конторы. Ибо, кроме указанных выше обстоятельств, Мазут Амо, самое умное и деятельное лицо во всем городе, имеет положение и хотя считается получающим жалование служащим, но у него собственный дом и немного земли. Одним словом, он богат, умен, с широкими общественными связями и, что самое главное, Мазут Амо член Товарищества и притом член влиятельный... Не верите? Но ведь это мне известно из самых достоверных источников. Известно также и то, что он, Мазут Амо, из-за границы получает «Дрошак» и тайным образом распространяет его в низших слоях населения. »то обстоятельство известно не только мне, простому смертному, но даже ему — уездному начальнику, вот что поразительнее всего! Однако уездный начальник на революционную деятельность Амо Амбарцумовича смотрит сквозь пальцы и, неизвестно почему, эту его революционную деятельность рассматривает как «наивную шалость». «Будь он — Амо Амбарцумович — даже огнем, все-таки — душа-человек и абсолютно безвредный», — говорит уездный начальник. «Пришелся ему по вкусу, ничего не поделаешь», — думают горожане. Насколько понравился уездному начальнику Мазут Амо, нетрудно себе представить, так как известно всем, что при взрыве в хижине у моста Вардана, когда дело было передано на государственное расследование, в кармане варжапета Каро была найдена целая пачка бумаг, написанная рукой Мазута Амо. И не будь уездного начальника, который скрыл это дело, Мазут Амо ныне был бы в Сибири, сгнили бы там его кости...

Однако, несмотря на столь широкую популярность и положение Мазута Амо, был все же момент, когда его контора, как «центр наирских дел», чуть было не уступила свое первенство какой-то лавочке, находящейся на Александровской улице, на вывеске которой были изображены ружье, два бегущих зайца, лошадиная подкова и втиснутая в нее голова — не то лошадиная, не то собачья. Посредине упомянутых выше изображений значилось по-русски: «Магазин «Охота» Ншан Маранкозян». Эта замечательная вывеска была прикреплена на фронте лавки; с правой и левой же сторон широкой витрины были прикреплены две другие вывески, на которых хотя и не было изображений, но была надпись на армянском языке: «Продаю различные охотничьи» — значилось на одной, и «Товары Ншан Маранкозян» — на другой. Вот эта ничтожная лавочка «продавца охотничьих товаров» Ншана Маранкозяна и хотела в одно время конкурировать с конторой Амо и стать... центром наирских дел. Смешно, не правда ли? Но неблагоприятная затея Ншана Маранкозяна, как и следовало ожидать, закончилась полным крахом, и подобный исход дела для Ншана Маранкозяна был довольно трагическим... Постоянное посещение

товарищей-революционеров и деловые совещания в конце концов в корне расшатали финансово-экономическую основу Ншана Маранкозяна: нельзя же было в самом деле собирать людей и кормить их пустыми до было выказать и известное гостеприимство, ни принято во всех политических клубах всех цивилизованных стран: чашка чаю, фунта два винограду, водки или вина, а иной раз, разнообразия ради, и две коньяку. Финансы Ншана Маранкозяна могли им убрать натиск товарищей-революционеров не больше. В течение лишь одного месяца его лавочка могла ютиться высокой чести быть центром наирских дел пусть месяц Ншан Маранкозян с болью в сердце, к вящему удовольствию Мазута Амо, был вынужден продать — хотя, говорят, и ничего не осталось у него там продажи, — и выехать в Болгарию с тем, чтобы всем по посвятить себя там революционной деятельности. Нине же, хотя вывески все еще красуются на прежних местах, лавка способна вызвать только разочарование того, кто, глядя на вывески, вздумал бы войти в нее купить охотничьи предметы. Вошедший в эту замечательную лавку увидит: прежде и с его прилавков, тянувшийся от одной стены до другой и не одевающий лавку на две неравные части, а по другую сторону прилавка, лицом к посетителю, поставленных рядом — жестяного китайца со щитом, жестяного австрийского солдата, выкрашенного в зеленый цвет, тоже со щитом, жестяного аскера со щитом и ряд других подобных же существ, опять-таки жестяных и со щитами.

Далее посетитель увидит: с потолка над головами на тоненьких им точках свешиваются разноцветные яйца и спички. По учитель увидит декорацию, установленную в глубине у противоположной стены и представляющую собою лес; огромный граммофон, стоящий на столе; круглый лотерейный стол с дешевеньким мылом, солонками и прочими мелочами... Для понимания всего сказанного надобно

мать, что в имевшей столь замечательное историческое прошлое лавке Ншана Маранкозяна ныне основано учреждение, именуемое «тиром». Основал его брат известного уже нам Аршака из Битлиса, вернувшийся из Америки, Манук из Битлиса. Это — последняя новинка, последняя американская новинка в ряду новостей, выше перечисленных нами. По воскресным дням собирается очень много почтенных горожан и занимаются они ишу возвышающей игрой в счастье. По ночам же некоторые из учителей приходской школы, сапожник Симон, гробовщик Енок, Телефон Сето и ученики старших классов реального училища здесь состязаются в карты.

Проходя мимо этой лавки, Амо Амбарцумович — Мазут Амо всякий раз испытывает горькое чувство человеколюбия. Он вспоминает Ншана

Маранкозяна и жалеет людей. И этот несчастный, жалкий, неотесанный житель Вана хотел тягаться с ним, Амо Амбарцумови- чем!.. Кто был тот и кто — он, представитель «Света», Мазут Амо!.. Делая это сравнение, Амо Амбарцумович обычно вспоминает, сам не зная почему, жену уездного начальника, Агриппину Владиславовну, и его сердце тает от приятного тепла, словно рафинад в стакане чаю. «Трудно тягаться с Мазутом Амо, очень трудно», — думает он.

И в самом деле, к чему было тягаться с ним? Он — ближайший друг уездного начальника, врача, Осепа Нариманова, генерала Алеша и пр., и пр., и пр. видных и влиятельных в городе персон. Наконец, он председатель Местного Комитета и даже — представляете вы себе? — Центрального Комитета, хотя об этом уездный начальник ничего не знает и не подозревает... Да если бы даже и знал — что мог он с ним сделать? Плохое дело — связаться с Амо Амбарцумовичем. Уездный начальник, как человек умный, не может же не понимать этого. А ведь он еще представитель нефтепромышленного общества «Свет». Нефть же, как известно, не «охотничьи товары», чтобы быстро иссякнуть: покуда он жив и держится город Баку, контора Амо Амбарцумовича будет «центром наирских дел». Ведь, в конце-то концов, из его, Амо Амбарцумовича, конторы раздастся первый «привет свободным наирянам», когда рассеется вековой мрак с лица Наири и воспрянет народ!..

Такие именно мысли приходили в голову Амо Амбарцумовича — Мазута Амо всякий раз, когда он проходил мимо бывшей лавки Ншана Маранкозяна. Но, кажется, уж достаточно поговорили мы о значительных и незаметных центрах наирского города. Если бы мы стали говорить обо всех более или менее бросающихся в глаза центрах, то, во-первых, рассказу нашему не было бы конца, во-вторых, подобно т. Вародяну, мы бы перед злополучным вопросом о том, почему ж», наконец, не может считаться центром хотя бы духан пира Арзуманова или же известная кофейня Телефона (по, на вывеске которой по-армянски значится:

КОФЕ, ЧАЙ, СТОЛОВАЯ СЕДРАК ФАЛЯН

Оставим центры и перейдем к обыденной жизни города.

Как и всюду на свете, так и в этом маленьком наирском городе ранним утром, чуть свет, выходит наирянин- лавочник — скажем, Карапетян или Мартиросян — из дому и идет на работу. Торговля в городе сосредоточена на Лорис-Меликовской улице, где в два ряда, бок о бок, тянутся далеко-далеко до вокзала низенькие одноэтажные лавочки. Это наиболее оживленная улица города и, как таковая, наиболее пыльная и грязная. Если день выдается дождливый, то при переходе с одной панели на другую приходится распротираться с галошей или сапогом: если они не в меру просторны —

неприменно застрянут в грязи. На этой пыльной, грязной, узенькой улочке сосредоточены торговые учреждения города и больше нигде, если не считать, конечно, находящихся на окраинах города тех двух-трех лавочек, в которых торговля совершается патриархальным способом, путем товарообмена: за яичко — иголку.

Как сказали мы выше, ранним утром, чуть свет, выходит наирский купец из дому и идет в лавку. Вот мелькает он в предутреннем тумане, среднего роста, сутулый, с правым плечом, всегда немного выше левого, словно серое привидение. Он серьезен, и на лице его, напоминающем сидящую на яйцах курицу, можно читать одни лишь заботы, заботы, заботы!.. Эти вечные мировые загадки. Выходят лавочники вереницей из домов, шагая медленно, неторопливо, — и открываются лавки: пекаря, молочного торговца, сапожника, рядом с ним фруктовщика, далее мануфактурщика, торговца рисом, коврами и прочим. Нет почти ни одной лавки; в которой продавалась бы одна определенная вещь: пекарь одновременно торгует и нефтью, — покупает он у Мазута Амо попутно, а продает пофунтно. Мануфактурщик торгует рисом, сахаром и спичками. В сапожной лавке в углу поставлен столик, у которого стоит приезжий наирянин, занятый бритьем и стрижкой. А то войдешь в цирюльню и видишь: в углу у окна сидит кто-то за столом и копошится в часах — часовщик! Или же вот тут, рядом с торговлей съестным, — довольно обширный магазин, с большими стеклянными дверьми и даже с витриной, где выставлены мужские и дамские готовые костюмы, гребешки, заграничные духи. А посмотрели бы вы на вывеску! Точно из Парижа: на черном фоне золочеными буквами написано по-французски.

Хозяин — лет тридцати с лишним, бритый, словно европеец, и в пенсне на характерном наирском носу — производит впечатление актера, занявшегося торговлей. Его в городе зовут — г. Абомарш.

Сосед г. Абомарша — цирюльник, впрочем, нет, не цирюльник, а европейский парикмахер, как значится на его вывеске. Зовут его г. Васил. Он среднего роста, широкоплечий, рябой, с желтой бородкой. Любит при бритье настолько приближать свои губы к лицу бреющегося, что про него в городе ходят разные легенды.

Сосед его — сапожник, известен как бесподобный исполнитель тифлисского танца кинтоури. По четвергам на масляной неделе, вечером, когда в городском клубе, имеющем некоторое подобие сцены, какой-нибудь приезжий артист вкупе с местными любителями разыгрывает трагедию «Варданова битва», все устремляются в клуб посмотреть не столько «Варданову битву», сколько кинтоури сапожника Симона... Его все любят, за исключением цирюльника

Васила, который злорадно обзывает его или Кинтоури Симоном — с чем еще можно было бы мириться, — либо Клубной Обезьяной, — что уж ни в коем случае недопустимо.

Но интереснее всех — сосед сапожника. Он персидский подданный, купец, который торгует коврами, кишмишом, мехами и сахаром. Если вы войдете к нему в лавку.

Соседняя лавка принадлежит достаточно уже нам м «местному Телефону Сето, владельцу кофейни, на вывеске которой написано: «Кофе, чай, столон. Он сухощавый, высокий, с головой, походящей мм феску, с сухими усами и редкой бородкой, — и общем, он производит впечатление козла. Его кофейный для низших слоев города то же, что для высших штора Мазута Амо. Это политический клуб, настоящий клуб.

Следующая лавка... Тут Хаджи Эфенди Манукоф торгует мануфактурой, самаркандским шелком, «бродским» сахаром, спичками Лапшина. Он в то же время занимается и разменом денег. Хаджи владеет английским языком и, как единственный в своем роде, пользуется особым уважением горожан. Кроме того, Хаджи Манукоф Эфенди яростный армянофил, как он любит сам себя называть.

Магазинов — множество, всех не перечесать. Мы мельком лишь сказали о некоторых из них. Об остальных пусть говорят их вывески и в том именно порядке, в каком они расположены по Лорис-Меликовской улице, из конца в конец, вплоть до вокзала.

«Мелочная торговля. Погос Колопотян». — «Вино, водил, коньяк. Амбарцумов Николай» (за свой непомерно большой живот прозываемый в городе Бочкой Николаем). — «Гробовщик. Принимаю заказы. Енок Карапеяп» (иначе называемый Еноком Покойником). — «Столовая Европа. Егор Арзуманов» — и еще: мелочной торговец, сапожник, цирюльник, мелочник, мелочник, мелочник и вдруг — «Аптека Жгенти» — и опять ряд лапочек, — этак вплоть до вокзала. Чуть свет открываются друг за другом лавочки, и начинается городская сутолока — лениво, медленно и однообразно.

Обычно в эту раннюю утреннюю пору тротуары свободны от пешеходов, между тем как посреди улицы текут, смешавшись в беспорядке, телеги, бараиты, многочисленные стада всякого иного домашнего скота, рабочие, которые большими группами направляются за город на железнодорожную линию, крестьяне, доставляющие продукты для продажи. Этот хаотический поток телег, стад и людей движется посредине Лорис-Меликовской улицы к майдану, то есть к базару, находящемуся между улицей и вокзалом на площади, именуемой на языке местного населения

«геолом», или «озером», так как в начале весны сюда собирается вся текущая с холмов вода, которая и задерживается до тех пор, пока ее не высушит солнце. Медленно текущие в предрассветном тумане телеги, стада и люди удостаиваются различных замечаний лавочников сидя или стоя ожидающих покупателей перед своими лавками. Надобно, однако, заметить, что в эту раннюю утреннюю пору, когда стекающийся из деревень поток устремляется на майдан, шеренгами торчащие по обеим сторонам улицы лавочники в редких случаях обращают на себя внимание направляющихся на майдан крестьян. Лишь после полудня, когда продавший свое добро поселянин по той же Лорис-Меликовской улице возвращается домой — на сей раз уже не посередине улицы, как то подобает телегам и стадам, а по тротуарам, — закипает, принимает форму бешеной схватки торговля в мелочных лавочках. Но до того, в особенности в раннюю утреннюю пору, когда только что начинается движение волны крестьян на майдан, наирские лавочники мирно сидят у себя перед лавками и, смотря на медленно движущиеся посередине улицы толпы, обмениваются друг с другом своими мыслями и впечатлениями. Например: «Погляди-ка на того барана, пуд целый жиру висит у него сзади», — говорит Хаджи Онник Эфенди Манукоф содержателю кофейни Телефону Сето. «Я утречком покушал яглу», — замечает ни к селу ни к городу Сето, обуреваемый, видимо, совершенно иными настроениями. Хаджи Онник Эфенди, вполне удовлетворенный этим ответом, хранит таинственное молчание и продолжает смотреть на тяжелые курдки ни проходящих белых овец. Телефон Сето, вообще любящий беседовать, хочет завязать разговор о городских новостях, но Хаджи Онник Эфенди, завидев издали своего сына, по обыкновению утром несущего из дому сыр с хлебом (сахар водится в лавке), заходит в лавку чае-
"ми Сето, оставшись один, тоже хочет войти в свою пню для чаепития, но в этот момент выходит из своей и сапожник Симон и, протягивая ему руку, говорит и спню: «Доброе утро, г. Седрак. Как изволили почини и эту ночь?» Во всем городе один лишь сапожник таит Телефона Сето «господином Седраком», ввиду чего Сето, сильно польщенный, отвечает с улыбкой: «Него, не могу пожаловаться. Утречком по обыкновению поел». «На здоровье!» — отрывисто замечает на что сапожник и, повернувшись, входит обратно к себе и лавку, оставив Сето в приятном настроении. «О чем опять болтала эта Клубная Обезьяна?» — спрашивает цирюльник Васил с масляной улыбкой на лице, медленно подходя к Сето. «Работа что-то не наклеывается, черт возьми», — роняет Сето, позевывая, и оба тоскливым взором начинают смотреть на проходящих посреди улицы животных и крестьян. «Не понимаю я, за что ты не уважаешь сапожника Симона? — замечает Сето. — Будь у меня его ноги — во,

какая пухленькая бабенка сидела бы сейчас у меня дома!.. Пляшет, как дьявол, сукин сын». — «А зачем не как обезьяна?» — бывает обычный резкий ответ цирюльника. Сего обижается про себя, но, опасаясь «лого языка цирюльника, ни единым словом или намеком не выражает своего недовольствия. «Да понимает ли что-нибудь этот грязный ушахбаз?» — ругается он про себя, задетый за живое, и прячется в лавку с трусливой улыбкой на лице. И эта история повторяется почти каждый день, каждое утро. «Нехороший, злой язык у этого ушахбаз-цирюльника», — думает он, усевшись в углу своей лавочки. Солнце постепенно восходит, и вот уже другие горожане, не лавочники, выходят из домов и несутся по тротуарам: одни за провизией, другие по делам. Должностные лица спешат в свои учреждения. Г-н Марукэ — к себе и училище. Работа в лавках постепенно закипает, и, быть может, один лишь гробовщик и содержатель столовой «Европа», Егор Арзуманов, сидят без дела перед своими заведениями и зевают от скуки. Но и они под конец постепенно принимаются за работу: гробовщик, изведенный бездельем, начинает наклеивать на гробы ангелочков из серебряной бумаги, а ресторатор Егор, вооружившись довольно чистой тряпкой, принимается смахивать пыль со столов своего заведения. Работая этак, ресторатор Егор насвистывает русскую песню «Во саду ли» и думает о том, что не мешало бы ему переехать в большой город — Ростов или Катиндар — и там открыть настоящую столовую. И вдруг ни с того ни с сего ему вспоминается, как Телефон Сето однажды на масленой, побившись об заклад на десять рублей, умудрился слопать целый фунт мыла для стирки. «Тьфу, проклятый!..» — вырывается с отвращением у Егора Арзуманова и, отбросив в сторону тряпку, он выходит на улицу.

В это же самое время заходит в парикмахерскую цирюльника Василя побриться г. Марукэ. Каждый день перед тем как пойти в школу г. Марукэ обязательно бреется. Вот почему так исключительно внимателен к нему цирюльник Васил: брея, он до того приближает свои отдающие водкой уста к щекам г. Марукэ, что делает правдоподобными предположения Телефона Сето относительно его нравственности. Г-н Марукэ, конечно, не молод, ему уже 30—32 года, но его смуглое лицо и щеки от частого бритья и употребления пудры приобрели девичью нежность. Кончик же его носа почти всегда красный: не то от насморка, не то от водки.

«Мое глубокое почтение, г. Марукэ», — говорит цирюльник Васил всякий раз, как г. Марукэ заходит к нему в парикмахерскую. Г-н Марукэ делает легкий наклон головы, серьезный, бледный садится перед зеркалом в мягкое кресло. Закрыв глаза, он лениво ждет, пока не начнет скользить по его щекам теплый, мягкий намыленный помазок и не почувствует он на своем лице отдающее

водкой дыхание цирюльника Василя. «Осторожно!» — сердито вскрикивает г. Марукэ всякий раз, когда горячие уста цирюльника почти касаются его лица. «Что за неотесанные люди здешние парикмахеры, — мрачно думает г. Марукэ. — Другое дело в европейских городах или же хотя бы в России: люди там вежливые, чистоплотные и бреют так, что одно удовольствие испытываешь. Василь же... Ну, черт знает что такое, чуть в рот не лезет глупый, грубый наирянин!»

«Ну, на здоровье! — говорит Василь, когда после расчески волос начинает отряхивать белым полотенцем пудру с лица и щеточкой чистить его воротник. — Кажись, сегодня ты, братец, не в духе, не случилось ли чего?» — спрашивает цирюльник Василь с хитрой улыбкой. «Ничего особенного нет», — мрачно роняет Марукэ и, взяв шляпу, торопится в школу.

Задвигалась по тротуарам толпа, но все так же медленно, так же неторопливо. Повылезали из домов на улицу мужчины, женщины, дети — и идут — кто на службу, кто за покупками, кто по делу, кто в баню. Впрочем, нужно заметить, что в эти ранние утренние часы в маленьком наирском городе ходят в баню одни лишь женщины. В городе всего две бани и обе азиатские. Одна из них называется «Белой», так как ее стены окрашены белой известью, другая же, которая, подобно мечети, имеет купол, напоминающий арбуз, носит название: «Баня Фантазия с отдельными номерами». В этой европеизированной бане всего лишь два номера, но от этого, конечно, положение не меняется. Пользуются номерами только: пристав первого участка, его жена, дочка, несколько должностных лиц русского происхождения и известный мануфактурщик Хаджи Манукоф Эфенди Онник, который, будучи истым англоманом, предпочитает отдельные номера. «Делай тут что хочешь — никто не увидит», — говорит он по этому поводу, хотя знакомый нам Телефон Сето о нем так же, как и о цирюльнике Василе, имеет особое мнение... «Хаджи Онник Эфенди не хочет, чтобы соседи видели, что он моется желтым мылом», — говорит он.

Как мы говорили, в эти ранние утренние часы ходят в баню исключительно женщины: обе бани до четырех часов дня открыты для женщин, после четырех — для мужчин. Ходят женщины в баню в этом городе с особой помпой, словно идут священнодействовать: обыкновенно по нескольким семьям, связанных узами родства, в одной компании — женщины, девушки и дети вместе. Не принято в этом наирском городе ходить в баню в одиночку. Впереди, в виде авангарда, выступает обыкновенно одетый в лохмотья носильщик, таща на себе медный круглый таз для воды, в который помещены такие же медные, более легкие тазики, деревянные шайки, гребешки, мыло — словом, всевозможные

принадлежности для купанья. Если в семье оказывается грудной младенец, то обычно и его прихватывает тот же носильщик, по обе стороны которого победным шагом шествуют дети — девочки и мальчики. В наирских банях в отношении детей существует такой закон: принято пускать в баню с женщинами мальчиков до семилетнего возраста, но если в доме есть больной мальчик до одиннадцатилетнего возраста, мать вправе брать с собой и его: не может лее больной ребенок сидеть дома не помывшись! Таковы банные правила, существующие в этом наирском городе с незапамятных времен.

Если в это время на дворе лето, осень или вообще время фруктов, то отец семейства, отправившегося в баню, — будь то цирюльник Васил, или Хаджи Онник Ману-коф Эфенди, или же духанщик Егор, — часам к двенадцати купающейся семье в баню посылает в подарок арбуз, дыню, виноград или яблоки. И это обычно делается на виду у всех, в особенности когда отправляется в баню ханум Хаджи Онника Эфенди Манукофа с чадами и домочадцами. «Сегодня опять Хаджи отправил в баню Нунуфар-ханум», — говорят с усмешкой соседи. «На здоровье», — обращается обычно в таких случаях Егор Арзуманов, содержатель столовой «Европа», к Хаджи Оннику: «Хаджи может у меня пообедать. У меня сегодня хороший домашний бозбаш с луком и помидорами». Но Хаджи не любит обедать вне семьи. Когда ему из дому обед не посылается, он обходится хлебом и сыром, а если бывает сезон фруктов, мясо заменяет арбузом или дыней. «Много ли человеку нужно, чтобы насытиться? —- говорит Хаджи. — В «Англетере» лорды довольствуются черным хлебом, и это не мешает им быть благородными и патриотами». И соседи его, хотя и не допускают мысли, чтобы лорды в Англии питались черным хлебом, все же одобряют слова Хаджи Онника Эфенди. «Человек может насытиться чем угодно, в частности Хаджи Онник Эфенди!» — думают они.

Когда солнце поднимается высоко и с полудня начинает клониться к закату — сутолока в лавках на Лорис-Меликовской улице доходит до своего апогея. Возвращающимся с рынка крестьянам Хаджи продает мануфактуру, чай, сахар; цирюльник Васил их стрижет и бреет; в столовой «Европа» солдаты и крестьяне начинают есть борщ, а мелочные торговцы не успевают и вздохнуть: продают без конца иголки, нитки, замки, по четверке халву, деготь для фургона, спички Лапшина, — словом, все то, в чем имеет нужду человек в течение дня, — и богатеют: сын золотаря Иоаннеса Колопотян, плешивый Татос, Католик Симонага и остальные торгаши и лавочники. Один лишь бедный Абомарш стоит без дела и, вперив глаза в висящие по стенам его магазина разноцветные костюмы, ждет покупателя. Видимо, наиряне не понимают, что написанное на его вывеске и прикрепленное за ним «А бон марше» не что иное, как — добро

пожаловать. Если бы они знали это — запросто заглядывали бы к нему, хотя бы и не для покупки. «Надобно надписи на вывесках переиначить на русский лад!» — говорит он себе и начинает придумывать подходящее название для новых вывесок.

В десять минут первого, после третьего урока, в учительской приходской школе, пользуясь большой переменой, завтракают учителя и учительницы. Одного из учителей зовут Бюзанд Вардересян. Ему под тридцать, кончил он Эчмиадзинскую академию и считается опытным педагогом. Армянский язык он изучил под руководством Манука Абеяна и гордится этим. У него длинные волосы, которые он аккуратно расчесывает, и коротенькая борода... Преподает он армянский язык и пение. Одновременно он состоит инспектором школы. Второй учитель — известный уже нам г. Марукэ — преподает арифметику и русский язык. Третий — тоже из питомцев Эчмиадзинской академии, но значительно моложе. Любит он заниматься общественной деятельностью и намеревается в течение ближайшего лета читать ряд лекций, посвященных интересным и поучительным страницам армянской истории, организовать союз молодежи, одной из главнейших задач которого будет «распространение армянского языка среди обрусевших наирян». Парень он хороший, много у него благих намерений, но, к сожалению, он равнодушен к своей сослуживице ориорд Нвард Луспаронян, которая окончила тифлисскую армянскую женскую гимназию и носит стриженные волосы. Ее не любит и питает физическое отвращение к ее коротким волосам и легкомысленным шуткам другая учительница школы, ориорд Затикян. «Женщина прежде всего должна уметь себя держать», — говорит она часто, намекая на шутки ориорд Нвард с г. Марукэ, к которому, если верить сплетникам, равнодушна она сама. Сидят они сейчас в учительской, представляющей собою комнату с полинялым от частого мытья полом, желтым потолком и двумя обращенными на улицу окнами; посередине комнаты стоит стол, покрытый зеленой скатертью, запачканной чернильными пятнами; на стене круглые большие часы, а между двух окон — огромный деревянный шкаф. Дверь выходит в переднюю, так что двор, где играют дети, остается позади: таким образом, учителя тут чувствуют себя в безопасности от шума и гвалта детей, что изводит Марукэ, но доставляет огромное удовольствие ориорд Нвард. Зевают в стаканах желтый холодный чай. Скучно, ни у кого нет охоты: чай, чай, чай — изо дня в день одно и то же. Ориорд Нвард изводят разговоры ориорд Затикян о добродетели женщины, а плоские шутки ориорд Нвард почти терзают, насилуют уши и душу ориорд Затикян — не помогают ни слово, ни возмущение. Г-н Марукэ читает газету и смеется себе под нос над ориорд

Затикян. Когда же он слышит дрожащий голос молодого учителя, просящего ориорд Нвард налить ему еще стакан чая, он отрывает глаза от газеты и бросает на своего сослуживца холодный взгляд. Г-н Бюзанд Вардересян почти каждый день на большой перемене с удовольствием спорит с ориорд Затикян о морали. Он доволен собой, своим зычным голосом, а в особенности же ориорд Затикян, которая всегда соглашается с ним и всегда говорит, обращая взор на ориорд Нвард: «Правда, г. Бюзанд, люди, и в частности женщины, должны быть добродетельны и не увлекаться детским легкомыслием. Я вполне согласна с вами». Г-н Бюзанд же, довольный этим, с улыбкой на лице чистит свой большой наирский нос красным платком.

Раздается звонок, учителя и учительницы медленно, с трудом поднимаясь с мест, вновь направляются в классы продолжать занятия.

Когда ориорд Нвард заходит в класс, самый озорной и дерзкий из учеников, пользующийся в классе славой настоящего мужчины, косоглазый желтолицый Мисак Ованесян, или же, как его зовут товарищи, Косой, обычно сидит на парте или даже на учительском столе.

В классе пыль, гул, дикий, но веселый хохот. «Опять ты взобрался на стол!» — острым, придушенным голосом кричит ориорд Нвард и бросается ловить Косого. Косой, перескакивая с парты на парту, добирается до дальнего угла и прячется под партой: «Простите, ориорд, простите!» — орет он оттуда. Хохот в классе усиливается и делается несносным. «Тише!» — ударяя рукой по столу и ногою об пол, иступленно кричит ориорд Нвард. На минуту в классе водворяется молчание. Ориорд Нвард подходит к учительскому столу и берет линейку: «Выходи немедленно!» — угрожающе поднимая линейку и быстро подходя к парте Косого, кричит ориорд Нвард. Но оказывается, что Косого уже там нет, он перебрался под парту в противоположном углу класса. Вновь поднимается хохот пуще прежнего. Ориорд Нвард от отчаяния чуть не падает в обморок. Когда же она бросает инстинктивно полные слез глаза на дверь и замечает коряво и криво выведенные на классной доске слова «Плешивая Нвард», то, потеряв самообладание, подбегает к учительскому столу, падает на стул и, зажав голову руками, начинает горько рыдать, словно девочка.

В классе наступает гробовое молчание, нарушаемое горьким глухим рыданием ориорд Нвард, так что даже Косой садится на свое место, движимый серьезностью момента. Все ученики смотрят либо вниз, на черные доски своих парт, либо, вперив холодные, полные животного страха детские глаза на вздрагивающие плечи и стриженные волосы ориорд Нвард, ожидают выхода из создавшегося положения.

Минуты две спустя ориорд Нвард внезапно срывается с места и легкими шагами, трепеща с ног до головы, устремляется к двери. Ученики догадываются, что ориорд

Нвард идет в учительскую за инспектором. «Бейте, ребята, Косого!» — кричит один из учеников, нарушив молчание. «Если придет инспектор, так достанется нам всем», — продолжает сидящий с ним товарищ, тот самый, который больше всех гоготал и мысленно завидовал Косому. И вот сосед Косого, десяти двенадцатилетний Рябой Мукуч, подняв руку, уже собрался было ударить Косого по голове, как внезапно открывается дверь и входит г. Бюзанд, сердитый, со страшным видом, а вслед за ним, вытирая глаза, ориорд Нвард — усталая и бледная.

«Мкртыч Карапетян, выйди сюда!» — кричит г. Бюзанд, не успев войти в класс. Он заметил поднятую руку Рябого Мукуча, которая, если бы он опоздал, через секунду опустилась на голову Косого. С опущенной головой, покорный, трясаясь всем телом от страха, выходит Рябой. «Мисак Ованесян, — кричит голосом еще более страшным г. Бюзанд, — выйди и ты!» Косой тоже выходит, почесывая пессимистически голову, и становится у классной доски. Весь класс, обуреваемый страхом, затаив дыхание, ждет конца.

«Этот самый?» — показывая на Косого, спрашивает г. Бюзанд. Ориорд Нвард взволнованно кивает головой: она не в силах говорить. «Медведь! — кричит г. Бюзанд, набрасываясь на него. — Я тебе покажу, я тебе глаза выколю!» И под треск ударов деревянной линейки быстро нанизывает одно за другим: «Балда, дурак, осленок, подлюга, босяк, шарлатан, — что мне делать с тобой?» — и опять удары и опять эпитеты. Затем дело доходит до Рябого Мукуча. Он тоже, получив свою долю художественных эпитетов и на голове своей сосчитав количество их, начинает выть так громко, что голос его доходит до ближайшей улицы. «Я их исключу, ориорд Нвард, — говорит г. Бюзанд, закончив первую часть своих обязанностей. — Извините меня, что они до сих пор еще в школе». «Пусть опять остаются, г. Бюзанд», — просит ориорд трагическим голосом, устремив искрящиеся, довольные глаза на инспектора. «Как это можно исключать детей? Ведь это антипедагогично и недостойно просвещенного учителя», — думает она про себя, но боится высказать вслух свое мнение г. Бюзанду. Однако неугомонный г. Бюзанд, приказав провинившимся ученикам немедленно отправиться домой и вызвать родителей, не ответив ни слова, выходит из класса. Ученики встают и продолжают стоять, пока ориорд Нвард драматическим голосом не говорит: «Садитесь!» «Раскройте книги, — говорит минуту спустя ориорд Нвард, потирая лоб. — Мартиросян, прочти!» — говорит она. И начинается в наирской школе урок — нудный и неинтересный. Голова

ориорд Нвард ноет, и мысли в этой маленькой головке начинают холодно и монотонно зевать.

Солнце спускается с зенита. Около трех часов пополудни. Но у содержателя кофейни Сето не было еще ни одного посетителя. «Неудачный день, ночью спал на левом боку», — думает он, сидя у Лавки, и крутит папиросу, чтоб отогнать сон. Качаясь и подрагивая плечом, подходит к нему Абомарш. Он наклеил на стекле двери своего магазина, как это принято в Европе, белую бумажку с надписью: «Пошел обедать». Этим культурным актом Абомарш сразу мог достичь двух целей: во-первых, он лишний раз подтверждал, что у него европейский магазин, во-вторых — показывал, что он сам, как истый европеец, обедает в четыре часа. Пусть он ни на грош товару не продал, но зато имеет возможность и умеет быть европейцем. «Эх, буйвол неповоротливый, что это ты сидишь на солнце, пойдем поиграем малость в карты!» — говорит он, подойдя к Телефону Сето. «Лучше поиграем в нарды — охоты нет играть в карты!» — отвечает Сето и, так как Абомарш не возражает, он также закрывает лавку, но не прикрепляет бумаги на двери, что идет обедать, — и оба направляются играть в нарды.

Когда они под руку, с видом людей, спасенных от скуки, входят в кафе-столовую Телефона Сето, встречают там соседей, играющих, в зависимости от настроения, в карты, домино или же нарды. Гробовщик Енок и Кинтоури Симон предпочли карты и вдвоем играют в бостон на арбуз. Их окружили Хаджи Онник Манукоф Эфенди, мелочник Погос Колопотян, Католик Симон, Бочка Николай; они живо обсуждают ходы игроков и

создают этим особую, напряженную атмосферу. Увлеченные общим настроением, Сето и Абомарш забывают о своем первоначальном намерении играть в нарды и присоединяются к ним.

Когда же начинает постепенно темнеть, по Лорис- Меликовской улице, по порядку, одна за другой, начинают закрываться лавки. Раньше всех закрывается в своей лавочке гробовщик Енок Карапетян и сам остается в ней. Сей почтенный наирянин, за неимением семьи, ночует в своей лавочке и спит в одном из изготовленных им гробов. Об этом знает весь город, и потому-то его в городе зовут Покойником Еноком. Дети же боятся его и не любят проходить мимо лавки гробовщика. Вслед за ним закрывает лавку содержатель кофейни Сето. У него также нет семьи, — он отправляется в городской сад совершить прогулку и выбрать себе невесту. За ним закрывает Хаджи Онник Манукоф Эфенди, а далее друг за другом — и остальные лавочники. Закрыв лавки, торгаши идут кто домой, кто в городской сад, кто опять же в кофейню Телефона Сето коротать там вечерние часы за картами либо следить за игрою других. И так постепенно

начинает пустеть кругом, а безликая и бессмысленная темь, словно ленивая, зевающая старуха, спускается и восседает на улицах, и только местами тусклые, как миганье глаз, мерцающие огни показывают, что здесь испокон веков живет и блаженствует наирский городок...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ В НАИРИ

Впервой части настоящего романа я попытался представить читателю наирский город со всеми его древними и современными достопримечательностями, постарался воспроизвести нравы его обитателей, или, лучше сказать, его бытовой колорит, лишь в общих чертах и не так подробно, как видел этот наирский город я сам и каким он рисовался мне самому, знавшему этот город. С беспредельным сердечным трепетом взялся я за его описание, дорогой читатель, ибо он дорог мне как колыбель детства и знакомы мне его обитатели как свои пять пальцев или как это перо, коим я сейчас пишу. Повторяю, с трепетом сердечным я приступал к изложению истории этого города. Но теперь, когда я хочу перейти к его последующим дням и событиям, воспроизвести его дни, на сердце моем сгущается тяжелая боль и гложет его. Как-то раз, когда я — хорошенько не припомню — не то брел на рынок, не то возвращался оттуда, внимание мое привлекла нелепая картина. Посредине улицы шел пожилой, среднего роста человек, похожий на уездного учителя или на почтальона, и нес на голове — представляете! — желтого цвета гроб. Лил дождь, и стояла непролазная грязь: жидкое месиво булькало под ногами и прилипало к сапогам. Превосходивший этого учителя или почтальона по весу и по размерам гроб скрывал его лицо, но напряженные изгибы его спины и колен явственно показывали, что он несет свою ношу с трудом и хочет доставить ее до места во что бы то ни стало. Должно быть, у него умерла мать или жена, а может, и сын — почем знать? Он напруг все свои силы, от тяжести гроба подбородок его уперся в грудь, спину он был не в силах держать в одном положении, так что гроб, балансируя то назад, то вперед, то и дело задевал грязь. Почему он так мучился, кого должен был встретить этот бедный учитель, придя к себе домой?.. Дорогого, а если не дорогого, то уж, по крайней мере, родного покойника, которого он должен предать земле в этом гробу... Почему так безутешно, с такими беспомощными усилиями, прижав гроб к ноющему позвоночнику, спешил домой этот мрачный учитель... Ныне, читатель, я похожу на него: куда я иду? Почему я прижал — но не к позвоночнику, а к мозгу моему — эту гроб подобную ношу и хочу доставить до места... Но куда? И неужели там, в конце труда моего, не представится мне страна Наири как заветный, дорогой покойник, для предания земле которого несу я сей гроб дум моих, нанизанных на строки? Несу я его вопреки воле моей, ибо надо нести. Ведь нужно же

похоронить всех покойников, как бы ни были они дороги и близки, — иначе трупы разложатся и распространят такое зловоние, что даже влюбленный отвернется от обоготворяемых останков. Поэтому, дорогой читатель, оставим лирические размышления и перейдем к дням и событиям этого наирского города. И пусть в тайне дней и событий откроется перед нами «Страна тысячелетия» — вчерашняя Наири.

В первой части моего романа, как сказано выше, я старался передать тот бытовой характер, или колорит, который имел этот наирский город в мирное время. Насколько позволяли мои силы, я прежде всего описал город с его древними и современными достопримечательностями и затем перешел к обитателям, о каждом из которых сказал лишь столько, сколько, быть может, они за- ч служили. Пожалуй, читатель, ты бы захотел, чтобы я, следуя видным европейским писателям, подверг анализу психологию моих героев, обстоятельно рассказал о нежных «переживаниях», скажем, генерала Алеша, когда останавливался в его великолепных покоях губернатор, или же, например, о душевном состоянии городского врача, Сергея Каспарыча, на похоронах его жены... Но здесь я раз навсегда должен сказать, что в романе моем этого нет, и, вероятно, в нем не будет ни единого героя; — печальное обстоятельство, в коем виновен не я, а самый наирский город, ибо какие же герои могли бы выйти, скажем, из генерала Алеша или Амо Амбарцумовича — Мазута Амо?.. Разве был бы удобным героем гробовщик Емок, или Кинтоури Симои, или же, наконец, Телефон Сето?.. Оставим это, дорогой читатель, и вернемся пока не поздно к дням и трудам избранного нами города. И почему знать? Может статься, что многие из незаметных обитателей этого незаметного города внезапно выступят волею исключительных обстоятельств в ореоле мучеников и, пожалуй, пройдя через горнило испытаний, и впрямь сделаются героями.

...Несчастливых же дней много было пережито впоследствии как этим городом, так и всей страной Наири. И эти мрачные дни не могли бы не родить людей несчастных и героических. О нет, не мог бы из пламени этих несчастных дней и годов не выступить героическим, не воспрянуть светлым и очистившимся наирский дух!..

Как сегодняшней обед, дорогой читатель, вспоминаю теперь со всеми подробностями исторический день — одно из июльских воскресений 1914 года — в этом наирском городе. Сейчас, когда я намереваюсь подробно описать сутолоку этого знаменательного дня, из мглы прошедшего, или, как сказал бы поэт, из-под мрачного пепла годов, встают перед моими глазами и рисуются мне события и картины: ясно и отчетливо, будто это совершилось вчера или час

назад, вижу я Мазута Амо перед клубом в городском саду, говорящего речь с высоты зеленого карточного стола... Ясно, отчетливо, будто это совершается в настоящую минуту, слышу я сильный голос Мазута Амо. Из тьмы, из ночной тьмы моей комнаты смотрят на меня искрометные глаза Амо Амбарцумовича, и сердце мое трепещет от неопределенного волнения, оно начинает стучать, как посеребренный язычок электрического звонка. И мое воображение, забега вперёд, уже рисует, точно неумолимый палач, Мазута Амо висящим на виселице, подобно деревянному манекену... «Бедный, бедный Амо!» — шепчет мое взволнованное сердце, и я кладу перо, чтоб успокоилось мое сердце и представилась бы мне возможность продолжать свой рассказ.

Наирский город наслаждался в то утро ленивым и мирным воскресным отдыхом. Мирно и безмятежно звонил колокол церкви Апостолов. Кто любил молитву —

пошел в церковь, но большинство горожан находилось в саду или же сидело перед закрытыми лавками, ведя обывательскую беседу. Кое-кто сидел в кофейнях Телефона Сето или Егора Арзуманова, кое-кто — в клубе сада. В тот день в клубе собрались: городской врач — Сергей Каспарыч, мировой судья — Осеп Нариманов, инспектор училища — Арам Антоныч, г. Марукэ, Кинтоури Симон, любивший вращаться среди «именитых», купец-англоман — Хаджи Онник Манукоф Эфенди и еще несколько горожан. Играли в преферанс, макао, баккара. Играть любили. Играли по обыкновению молча и торжественно, порою нарушая молчание возгласом вроде — «пас», «двадцать восемь», «талья». Но, несмотря на полную погруженность в игру, многие из партнеров, в особенности же Сергей Каспарыч и Осеп Нариманов, чувствовали себя не в своей тарелке: частенько посматривали они то на дверь, то на окно, как будто, невзирая на приятную июльскую погоду, им казалось, что оттуда дует. Дело в том, что недоставало одной обыкновенной вещи, к которой привыкли все, — если только «вещью» можно назвать живого и к тому же почтенного человека: недоставало генерала Алеша. Без него не было жизни в клубе, тем более что вместе с ним недоставало и «второй души» клуба — центра клуба — Мазута Амо.. Еще не приступив к игре, Осеп Нариманов спросил, — собственно говоря, даже не так: едва войдя в клуб, по своей всегдашней привычке, Осеп Нариманов радостно воскликнул:

— Мое глубокое почтение Алешу Никитичу!.. — но ответа не последовало по той простой причине, что Алеша Никитича там не было. Осеп Нариманов опешил. В тот же миг в голове его возник целый рой подозрений: во-первых, еще вчера, выходя из клуба в четыре часа ночи, генерал Алеш дал слово в десять утра быть в клубе и продолжать прерванное макао; во-вторых, за последнее время

генерал Алеш как-то особенно поглядывал на Ольгу Васильевну — Желтокудную Тыкву, принадлежавшую ему, Осепу Нариманову, и никому другому, — пусть это зарубит у себя на носу генерал Алеш!

Не успели мысли эти оформиться в голове Осепы Нариманова, как впопыхах вошел Арам Антоныч, о жене которого так сильно беспокоился его приятель, мировой

судья, и, заметив, что все уже приступили к делу, подошел сзади, взял его за руку и предложил ему составить пульку.

— Глубокое мое почтение! — воскликнул Оsep Нариманов, от души обрадовавшись. — Как поживает Ольга Васильевна, Арам Антоныч?

Оsep Нариманов только теперь, казалось, вспомнил, что прошло уже три дня с тех пор, как он не видал Ольги Васильевны, а вчера, в шесть часов вечера, когда он, по всегдашнему обыкновению своему, пошел «навестить» ее (обычно в шесть часов Арам Антоныч бывал в школе), горничная объявила, что Ольга Васильевна не велела никого принимать. Не успел он вспомнить об этом, как уже в глазах его начало темнеть, и он собрался отвести затуманившийся взор свой от блестящих глаз Арама Антоныча, как...

— От Ольги Васильевны сердечный привет, — сказал Арам Антоныч с загадочной улыбкой и вслед за тем, нагнувшись к Осепу Нариманову, интимно шепнул: — Мамаша, городская акушерка Аксена Мануковна, вчера клялась, что на сей раз обязательно будет мальчик.

С сердца Осепы Нариманова свалился тяжелый камень. «Значит, не пропала даром долголетняя близость моя с Ольгой Васильевной», — подумал он, оживившись, и сказал, дружески пожимая руку Араму Антонычу:

— Честь имею быть крестным отцом Колечки, — понимаете, Арам Антоныч, — обязательно Колечки!.. — И, совершенно успокоившись, оба сели за игру.

— Однако, куда же делся Алеш Никитич? — спросил, сдавая карты, Арам Антоныч спустя минуту. Но уже все занялись игрой, никто не ответил, хотя всеми и чувствовалось его отсутствие. Врач Сергей Каспарыч обратил было глаза к окну, словно хотел сказать: «дует», но, сообразив, что не это причина общего беспокойства, молча продолжал игру.

И вот, этак часов в двенадцать дня, запыхавшись, влетели в клуб генерал Алеши Амо Амбарцумович. Влетев, как бомба, генерал Алеш и Мазут Амо быстро подошли к столам, перемешали карты и сбросили их на пол... Все повскакали с мест, удивленные и растерянные. А Кинтоури Симон, хоть и был больше всех в проигрыше и, следовательно, больше всех имел основание возмущаться, решив от неожиданности, что «ребята» наклюкались, подбросил вверх карты, вскочил и глупо заорал:

— Урра! урра! урра!!.

— Да что вы, с ума спятили, господа?! — сердито крикнул врач, ударив рукой по столу. — В чем дело?

И не успели остальные очнуться, как Амо Амбарцумович поднял руку, сделал знак, чтобы его слушали, и...

— Война! — объявил Амо Амбарцумович едва слышным голосом. Водворилось молчание, благоговение и удивление.

Генерал Алеш тоже хотел что-то сказать, он поднял было руку, но под влиянием наступившего молчания застыл на месте. Глаза Арама Антоныча так и остановились, впившись в поднятую руку генерала Алеша. На лице Клубной Обезьяны — Кинтоури Симона замерла смешанная со страхом улыбка. Сергей Каспарыч поднес руку к губам и машинально — как это случалось с ним во время приемов — сухо, официально закашлял. Затем генерал Алеш и Мазут Амо рассказали о происшествии все, что знали.

Оказывается, утром, часам к семи-восьми, когда Амо Амбарцумович еще спал, ничего не подозревая, приходят и вызывают его по чрезвычайно важному делу к уездному начальнику. Последний просил его взять с собой также и Алеша Никитича. Амо Амбарцумович немедленно одевается, бежит к нему, и они вместе идут на квартиру уездного начальника. В столь необыкновенный утренний час уездный начальник принимает гостей чрезвычайно любезно и сообщает им, что волею божьей и августейшего монарха Россия, вынужденная к тому, объявила войну... «Собственно говоря, гнусный германский кайзер Вильгельм Второй объявил войну России. Необходимо организовать манифестации, — говорил уездный начальник Алешу Никитичу и Мазуту Амо, — и разъяснить народу большое, безмерно важное значение события». Сообщение Амо Амбарцумовича произвело на слушателей впечатление грома. Присутствующие бросили карточную игру и вышли из клуба во главе с генералом Алешем.

— Господа, надо начинать, — сказал Амо Амбарцумович, став в дверях клуба. Что? — спросил Кинтоури Симон, обеспокоенный: ему показалось, что надо начинать... войну.

— Вот сейчас увидишь, — ответил Амо Амбарцумович многозначительно и вновь вошел в клуб, а за ним пустился Кинтоури Симон. Вышли они, держа в руках большой портрет царя, а за ними показался официант, поставивший перед клубом зеленый карточный стол. Портрет царя взяли генерал Алеш и Осеп Нариманов. Мазут Амо тем временем взобрался на зеленый карточный стол. Вокруг собралась толпа.

— Господа! — воскликнул, поднимая руку, Мазут Амо.

Все окаменели, разинув рты. Поистине чудо, невероятный человек этот Амо Амбарцумович — Мазут Амо!..

С головокружительной высоты своего пьедестала — зеленого карточного стола — Амо Амбарцумович сообщил собравшимся внизу многочисленным наирянам весть о войне. Обругал, разнес Мазут Амо со своей высоты, сверкая глазами, низкого германского кайзера Вильгельма II. Стоявшему в толпе лавочнику Колопотяну показалось, что германский кайзер заклятый враг, личный кредитор Мазута Амо; стоявшему же несколько поодаль цирюльнику Василиу Вильгельм представился в образе кровожадного чудовища. Мазут Амо не забыл также довести до сведения собравшихся рассказанное уездным начальником то важное обстоятельство, что наш всемогущий государь император множество раз телеграфировал Вильгельму, предлагая мирно ликвидировать возникшее недоразумение, но, к сожалению, его усилия остались тщетными. В заключение Мазут Амо призвал слушателей прийти на помощь общему отечеству в критический час и жертвовать добровольно, не останавливаясь перед мелкими лишениями в деле помощи великому отечеству.

— Итак, да здравствует наш государь император и его доблестная армия! Долой низкого кайзера Вильгельма Второго! Урра! — закончил Мазут Амо свою историческую речь, которая, к его большому удивлению, была встречена полным молчанием. Однако не думайте, что народ промолчал нарочно; конечно нет; народ просто не знал, его еще не научили, что в подобных случаях нужно откликнуться. Но вот пришел на помощь со своим исключительным положением генерал Алеш. Совершенно неожиданным для такого тучного старика образом

взобрался он на зеленый карточный стол, и, став рядом с Мазутом Амо, закричал генерал Алеш: «Урра-а!!» — потрясая шапкой. Ему страшным ревом вторили — Сергей Каспдрыч, Осеп Нариманов и Кинтоури Симон; и тогда уже битком набитый сад так загремел от возгласов, что даже г. Марукэ, который уже отошел от своих партнеров и смешался с толпой, на минуту растерялся и чуть было не снял шляпу и не стал звероподобно реветь. Но г. Марукэ этого, конечно, не сделал. К совершающемуся вокруг него он с первого же дня занял особую позицию, — но об этом после.

Сад еще гремел от радостных возгласов, как раздались звуки военного оркестра, посланного уездным начальником; оркестр заиграл «Боже, царя». Все обнажили головы. После гимна Осеп Нариманов, обратившись к толпе, закричал: «Да здравствует наш возлюбленный государь Николай Второй! Урра!!» — и вновь с зеленого стола начали кричать, размахивая руками, генерал Алеш и Мазут Амо. После долгих рукоплесканий и выкриков они сошли со

стола, и в сопровождении этих двух почтенных наирян процессия вышла из сада и направилась по Большой улице к дому уездного начальника.

Когда процессия в сопровождении военного оркестра проходила мимо кофейни Телефона Сето и Егора Арзуманова, собравшиеся в них наиряне, занятые игрой в карты, домино и нарды, высыпали на улицу и стояли перед кофейнями, пока не прошла процессия. «Что это еще за кутерьма?» — спросил гробовщик Енок, державший в руке бубновую даму. «Опять подорожает хлеб», — ответил с убеждением Телефон Сето и вернулся в кофейню, качая головой. «Не поймешь, к чему эта зурна?» — сказал он, обращаясь в пространство, но ответа не последовало, так как посетители были на улице и смотрели на манифестацию. «Опять подорожает хлеб, вот и трубят в зурну», — повторил он, когда посетители вернулись в кофейню продолжать прерванную игру. «А ты что думал?» — ответил ему Кривой Арут, и наиряне в раздумье покачали головами.

Однако некоторые из посетителей кофейни, как-то: г. Абомарш, лавочник Франк, Католик Даниэль и другие, заметив, что процессию возглавляют такие почтенные наиряне, как генерал Алеш и Мазут Амо, также смешались с толпой. Вскоре для всех стало ясно, что толпа направляется к уездному начальнику выразить свою гражданскую готовность, свои верноподданнические чувства, и г. Абомарш нашел, что это акт в высшей степени желательный и необходимый... — До какого же возраста будут призывать? — спросил задумчиво Католик Даниэль.

— А бог его знает, смотря как придется, — мрачно ответил Абомарш, и, казалось, оба собеседника опечалились: шли они молча, опустив глаза на свои собственные башмаки.

Стоял жаркий воскресный день. Ярко блестело солнце. Ясное, безоблачное небо опрокинулось над городом, точно голубая тарелка. За играющим оркестром следовали наиряне, разодетые в разноцветные праздничные наряды. Детям, шедшим впереди оркестра, это непонятное зрелище казалось веселым празднеством. «Крошка», десяти двенадцатилетний мальчик Хаджи Онника Мануко-фа Эфенди, известный всему городу своими шалостями, шел рядом с барабанщиком, как победитель, и, воображая себя военным, отбивал такт:

— Раз-два, раз-два, раз-два!

Процессия подошла наконец к квартире уездного начальника. Оркестр заиграл «Боже, царя», и уездный начальник вышел на балкон. «Урра!» — крикнула толпа под предводительством генерала Алеша, и наступило гробовое

молчание. Взоры всех впились в уездного начальника. Тощий, длинный, он походил на трость с луковичной головкой. Окинув взором с балкона собравшуюся толпу и помолчав минуты две, длинный уездный начальник поднес руку к губам, делая вид, будто кашляет, и сухим, свойственным военному, отрывистым голосом стал говорить:

— Война! Государь! Вильгельм Второй! Наш долг служить родине и престолу! Да здравствует! Долой! Урра!-а!-а!

Снова подхватывает клич толпа, снова играет оркестр «Боже, царя». И вот вновь выступает... Мазут Амо. Ликуют горожане. Сияют их лица гордостью, словно распутившиеся розы. Что бы стало с наирским городом, скажите на милость, не будь Амо Амбарцумовича, этого

управляющего «Светом», — Мазута Амо? Был бы растоптан, стерт, прозябал бы в беспросветной тьме невежества. Во всех затруднениях он один «свозил с места телегу». Выручил он и сейчас. Мазут Амо от имени горожан изъявил полную готовность воевать до последней капли крови в защиту престола и родины. Он великолепно знал, он понимал, где каким языком надлежало говорить. Змеиный был язык у него, Амо Амбардумовича — Мазута Амо!..

После Мазута Амо уездный начальник выразил благодарность сознательным горожанам и предложил разойтись по домам и заняться обычными делами. Генерал Алеш, А Амбарцумович, Осеп Нариманов и врач были приглашены наверх к столу. Толпа разошлась. Одни пошли домой обедать, другие — в кофейню: кто Телефона Сето, кто Егора Арзуманова; многие же направились в городской сад — коротать там остаток дня.

Так шумно и пышно была встречена этим каирским городом кровожадная гостья, названная впоследствии Мировой войной, — встречена, как подобает всякому настоящему городу, с глубокой серьезностью, — и этим город обязан был прежде всего своему достойному сыну Амо Амбарцумовичу Асатурову — Мазуту Амо.

На следующий день, в понедельник, все, как обычно, проснулись на рассвете и пошли на работу... Ничто не переменилось, ничего не произошло, если только не считать происшествием то незначительное обстоятельство, что генерал Алеш, Мазут Амо и товарищи их в то утро чувствовали себя несколько усталыми, разбитыми, что случалось с ними обычно после большой попойки. Но большинству горожан, в частности практичным представителям торговой улицы, казалось, что разговоры о войне, имевшие место вчера, не что иное, как безобидные воскресные шутки: прошло воскресенье, наступил понедельник — и баста, извольте заняться делом. Конечно, временами говорили о войне, но так вскользь, как о вещах, их не касающихся. Так прошли первый, второй, третий

дни. Так обстояло дело в течение первой недели, но постепенно далекая война во всем давала себя знать, во всем даже в этом отдаленном наирском городе, — да, во

всем. Даже лавочник Колопотян и гробовщик Енок стали замечать вокруг себя необычную атмосферу, какую-то непонятную перемену. Перемену, вызванную войной, в этом наирском городе раньше всех почувствовал г. Марукэ, почувствовал на следующий же день, в понедельник утром, — и вот как.

Когда по своей ежедневной привычке (кроме этой единственной привычки, у г. Марукэ вообще других привычек не было) он вошел в цирюльню Васи́ла и, сев перед тусклым зеркалом, покорно вверил свое лицо густому и мягкому помазку цирюльника, Васи́л, легко скользя намыленным помазком по щеке г. Марукэ, спросил:

— Что это такое было вчера, г. Марукэ? Вот так Мазут Амо! Видел ты его? Как змея говорил, проклятый!

Г-н Марукэ не ответил. Настроение его было неважное — всю ночь он не спал: с семи вечера до трех часов ночи он в клубе играл в преферанс с Арамом Антонычем, Кинтоури Симоном и еще дьявол веда́ет с кем («шефы» отсутствовали: они, как мы знаем, были приглашены на обед к уездному начальнику, и этот обед, по непонятным причинам, затянулся до одиннадцати часов ночи). Но дело было, конечно, не в этом обеде; г. Марукэ плевать хотел на их обед — он знал, конечно, смысл этого обеда; не мадера, выпитая «блюдолизамы» у уездного начальника, служила причиной его мрачного настроения — нет, а то, что он в вечерней игре проиграл Араму Антонычу крупную сумму и не смог ее заплатить, так как не имел при себе нужных денег. Г-н Марукэ сам не любил играть в долг, но сильнее, чем он, был против такой игры Арам Антоныч. Однако происшествие, имевшее место вечером, случилось по недоразумению, вопреки воле г. Марукэ. Он сам не мог понять, как это после «талыи» оказалось, что он проиграл четыреста семь рублей, тогда как при себе имел всего сто девяносто два рубля.

— По одежке протягивай ножки! — сердито сказал ему Арам Антоныч, заметив, что у г. Марукэ нет денег покрыть проигрыш.

— Извините, я заплачу вам завтра, — ответил на это вежливо г. Марукэ и поспешно вышел из клуба; выходя, за спиной он услышал хохот Арама Антоныча и рабские подвизгивания Кинтоури Симона, этой Клубной Обезьяны... Г-н Марукэ самолюбив был до невероятности и старался во всем быть «немцем», поэтому вчерашнее происшествие произвело на него угнетающее впечатление, буквально пришибло его к земле. Он вернулся домой бледный как смерть, бросился на постель и, уткнув лицо в подушку, до рассвета

оставался в той же позе. В распаленном мозгу его мерещились в различных сочетаниях цифры, цифры, разноцветные кредитки, карты. От усталости у него трещала голова, туманился мозг, — и все, все без конца вереницей проходили перед ним возникающие из тьмы — цифры, цифры, цифры, разноцветные кредитки, карты. В конце концов г. Марукэ не виноват; он никогда не протягивал ножки дальше своей одежды; он раздобудет сегодня же эти жалкие копейки и бросит их в лицо этому ничтожеству. И ныне, подставив свое лицо острой бритве цирюльника Васила, об одном только и думал г. Марукэ неугомонными потугами своего усталого мозга: «У кого бы занять?» Лицо его пожелтело, иссохло; глаза смотрели тупо и бессмысленно — но куда? Он сам не знал: глаза его видели лишь разноцветные кредитки...

Цирюльник Васил... Не такая он собака, чтобы не знать, в чем дело... Конечно, он знал; еще вчера слышал он о происшествии, но не подавал вида, что знает; даже вопреки своему обыкновению, он не справился о настроении г. Марукэ; знал, что «плохо», — и не к чему было спрашивать. Он приблизил губы к лицу г. Марукэ, сколько мог; легко задевая, скользила бритва по щеке г. Марукэ. Было душно и тихо. Слышно было медленное дыхание цирюльника; точно теплый липкий банный пар, дыхание его удушливыми волнами касалось лица г. Марукэ. Но г. Марукэ ничего не замечал: в усталом мозгу его, словно в банном паре, мелькали, подобно разноцветным капелькам, кредитки.

Открылась дверь, и в цирюльню ворвался мелкими шажками, точно барабанили по полу, Хаджи Манукоф Эфенди.

— Доброе утро моим эфенди-приятелям! — радостно воскликнул Манукоф Эфенди. — Видимо, дела твои хороши, Васил. Уж кто-кто, а Марукэ обязательно придет!..

— Присаживайся, пожалуйста, сейчас кончу, — отведя губы от лица г. Марукэ, с улыбкой ответил цирюльник. — Слава аллаху, ты, видно, в хорошем настроении...

— Почему бы и нет, сынок, — гордо воскликнул Хаджи. — Армения обогатилась новым молодцом, на сей раз мальчик, да-с! Жена Хаджи Манукофа Эфенди Нунуфарханум — героиня: она родила мальчика.

Веселое настроение Хаджи Манукофа Эфенди вызвало луч надежды в мозгу г. Марукэ; в тупых и сонных глазах его мгновенно вспыхнуло жадное выражение.

— Ну, живей, — нервно прикрикнул г. Марукэ, подергивая левым плечом, — я тороплюсь!

Цирюльник Васил уже кончал.

— Поздравляю, ага-хаджи, — сказал вставая г. Марукэ и протянул Манукофу Эфенди свою улыбку и руку. Хаджи Манукоф Эфенди положил два пальца на

протянутую ладонь Марукэ (рукопожатия он не знал).

Тот крепко, от души пожал два пальца Хаджи Эфенди и... не знал, как начать. К счастью, Манукоф Эфенди вывел его из затруднительного положения:

— Коли у тебя есть время, идем-ка выкушать по чашке кофе, — сказал Манукоф Эфенди, вырвав пальцы из руки г. Марукэ. — Зайду потом, — бросил Хаджи цирюльнику и показал ему спину. Не обернувшись и не получив согласия г. Марукэ, Хаджи вышел из цирюльни. Г-н Марукэ, не долго думая, пустился за ним, а цирюльник Васил, рассердившись, продолжал стоять минуты две с намыленным помазком в руке, вперив раздосадованный взгляд в их спины. Затем, когда они исчезли, сплюнул и бросил по адресу Хаджи:

— Тьфу, подавись ты своим добром, проклятый! — Затем он подошел к умывальнику и стал мыть помазок, насвистывая модную песню: «Ах, зачем эта ночь!»

Манукоф Эфенди, не оборачиваясь, шел впереди мелкой, четкой, сухой походкой, словно барабанил тросточкой по панели. Радостно думал Манукоф Эфенди, что ловко избавился от ушахбаз-цирюльника. Хаджи Онник Эфенди зашел к цирюльнику, конечно, не побриться, нет, — Хаджи Эфенди брился в неделю раз, и то по

субботам. Целью его было сообщить цирюльнику весть о новорожденном. «Язык цирюльника — что порог бани», — думал Хаджи, и он, конечно, был прав. О г. Марукэ, которого он пригласил пить кофе, Хаджи совсем забыл. Но г. Марукэ о нем не забыл. Думал г. Марукэ, едва поспевая за ним, что если Хаджи соблаговолит снабдить его заимообразно нужною суммою, он будет спасен, иначе... Г-н Марукэ сам не знал, что станет с ним в противном случае.

Дойдя до своей лавки, Хаджи Манукоф Эфенди остановился и круто повернулся в сторону г. Марукэ. Задумчиво шедший за ним г. Марукэ, не ожидая этого, сильно стукнулся головой об лицо Хаджи Манукофа Эфенди и, смущенный, отскочил, как каучуковый мяч.

— Да потише, что с тобой? — в сердцах воскликнул Хаджи и добавил: — Иди-ка к Симону и скажи, чтоб он за мой счет угостил тебя чашкой кофе, а меня уж прости—мне некогда! — Сказав это, Хаджи Онник Эфенди быстро открыл дверь, юркнул в нее и тотчас же захлопнул ее перед самым носом г. Марукэ. Понял г. Марукэ, что надежды его тщетны.

— Тьфу! — сплюнул г. Марукэ по адресу Эфенди наподобие цирюльника Василя и зашагал... куда? Померк, померк свет в его глазах, и отчаяние его дошло до последней крайности. «Пойдет теперь рассказывать, издеваясь над ним, Арам Антоныч об этом позоре», — подумал г. Марукэ, и в затуманившемся мозгу его всплыли бледные отталкивающие лица Осепа Нариманова, генерала Алеша,

Мазута Амо. И вдруг — в момент этого крайнего отчаяния вспомнил г. Марукэ вчерашнюю сутолоку. В его воображении предстал стоявший на зеленом столе Мазут Амо. И Мазут Амо, этот самый обыкновенный управляющий «Светом», Амо Амбарцумович, показался ему иным, незнакомым. Он предстал перед г. Марукэ подобно исторической личности, вышедшей из глубины веков; он вполз в воспаленный мозг Марукэ, точно гравюра, вырезанная из учебника истории. «Война!» — отдался в его воспаленном мозгу вчерашний голос Мазута Амо. И в сердце г. Марукэ невидимая рука сдвинула, подобно часовой стрелке, с обычного места какую-то тяжесть. Г-н Марукэ понял вдруг, постиг, как бы по наитию свыше, что с этого момента мир уже не тот и что сдвинулись также людские взаимоотношения. Опять, как и в продолжение всей ночи, медленно задвигались в его голове разноцветные кредитки. Но, к его удивлению, сердце его окаменело и не сжалось.

— Ерунда! — вырвалось вслух из его уст, и с сердца его свалился тяжелый камень. Г-н Марукэ ускорил шаги. Он пошел домой спать.

Уже началась война в каких-то неведомых краях. Уже прошло месяца два, как воевали. Шепотом поговаривали, что скоро, в самом близком будущем, как говорил Телефон Сето, «русский вызовет турка на войну». В городском саду т. Вародян передавал знакомым барышням, что уже имеются, уже получены в центре самые достоверные сообщения о скором объявлении войны также и «турку», и тогда все переменится... «Широкие горизонты откроются тогда перед Наири», — говорил знакомым барышням т. Вародян таинственным шепотом, словно сообщал государственную тайну. Не знаю, какие перемены должны были наступить в жизни этого города и какие горизонты должны были открыться перед Наири в результате таинственных перемен; точно так же не знаю, откуда черпал центр, о коем намекал т. Вародян, подобные сведения, — но одно могу с уверенностью сказать: в делах многих горожан известные перемены уже произошли, однако этого обстоятельства, к сожалению, не мог видеть т. Вародян. Эти «сообщения» он мог бы получить сам, минуя центр, на месте же, у любого наирянина, хотя бы у мелочного торговца Колопотяна, перед которым уже открылись известные горизонты. В жизни мелкого лавочника Колопотяна уже произошла та бросающаяся в глаза жизненная перемена, что в течение одного двух месяцев цена на сахар-рафинад подскочила с четырнадцати копеек до семнадцати. Набавил цены Хаджи Онник Манукоф Эфенди, получавший сахар с места производства вагонами и, в свою очередь, продававший мелким торговцам мешками. Но перемена эта была ничтожна по сравнению с той более чем ощутительной переменой, что имела место в лавке соседа того же Колопотяна — Католика Симона и прочих. Она

заклучалась в нехватке подсобляющих рук: одни их уже лишились, другие были под угрозой лишения, третьи могли потерять их не сегодня-завтра. Уже забрали сына Католика, его соседа Карапетяна, Мартиросяна, детей, братьев, их самих и тысячи неизвестных «янов». Очередь была за Абомаршем, Кинтоури Симоном, третьим, четвертым, пятым — всех не перечесть. Изо дня в день появлялись на стенах, наклеивались какими-то неизвестными руками белые приказы; со стен вызывали белые приказы — того, другого, третьего, сотого — вызывали к пятиэтажному дому. Шли каждое утро, заполняли улицы и майдан юноши, молодежь, средних лет мужчины в лаптях, приходили из окружных деревень и собирались у пятиэтажного дома. Отсюда группами они направлялись на вокзал. Гуртом запихивали в длинные красные товарные поезда, стоявшие вдалеке — у депо, людей в лаптях, словно рыбу в бочки. Свистел паровоз — остро, пронзительно, будто ревел зверь под ножом, и люди в лаптях орали бессмысленно, а молодые парни пели по-стариковски: «Веее-зут, матушка-джан, веее-зут...»

Но, с другой стороны, день и ночь прибывали поезда из неведомых далей в этот наирский город, и заполнялся город русскими солдатами. Заполнялся город изо дня в день, каждый час, каждую минуту. Сияли лица Егора Амбарцумова, Бочки Николая, лавочника Колопотяна — в общем, ликовала вся Лорис-Меликовская улица. Бежавший в лавку на рассвете наирский купец, мелочной торговец, торгаш, Хаджи Манукоф и Колопотян больше уж не думали о том, что до девяти-десяти им придется стоять без дела у лавок и зевать от скуки, как это бывало прежде. О, нет, конечно, нет! С самого раннего утреннего часа до позднего вечера кишмя кишели улицы солдатами и новобранцами. И что же? Было не хуже. Одному четверть сахара, другому — халвы на пятак, третьему — что-нибудь другое, с каждого по копейке, насчитал сто, и глядь — уже рубль. Так обстояло дело у мелочных торговцев. «По сравнению с ними Хаджи Манукоф, Перс и другие крупные подрядчики буквально грабили», — говорил с завистью Колопотян. «Десять вагонов мыла, десять — свиного сала, десять — какого-то еще там черта-дьявола»... — вот, по вычислению Колопотяна, их счет. Один лишь несчастный гробовщик Енок коротал дни по-старому. Вначале он было думал, что у него дела пойдут хорошо, но жестоко ошибся!.. Правда, число умирающих увеличилось, да умирали не те, которые нуждались в гробах. Так что он, как и прежде, уставши от безделья, большую часть дня либо наклеивал бумажных ангелочков на готовые гробы, либо, когда уставал и от этого, ходил гробовщик Енок в кофейню Телефона Сето и там играл в домино с братом последнего, пятидесятилетним Кривым Арутом. Этот последний потерял свой глаз в молодости, в день

масленицы, на майдане, во время борьбы с боевым бараном. Обычно к нему ходил гробовщик Енок отводить душу, так как, подобно ему, был без дела и Кривой Арут. В кофейне брата Кривой Арут, если можно так выразиться, отправлял функции постоянного игрока. Порою же гробовщик Енок ходил на вокзал — смотреть, что там делается; возвращался он оттуда то радостный, то грустный: грустный потому, что он не имеет никакой выгоды от отбывающих и прибывающих, радостный — что его нет и, вероятно, никогда не будет в числе отбывающих. Но эта блаженная радость гробовщика Енока уступала место крайней грусти, когда по возвращении в город он замечал царящее в лавках оживление. Все орудовали, все выгадывали, кроме него и его единственного закадыки — Кривого Арута. Однако ему было суждено лишиться и этого единственного друга; обстоятельство это произвело на него сильнейшее впечатление и внесло в его жизнь также известную перемену.

Однажды, соскучась от своих не нужных никому гробов и ангелочков, гробовщик Енок, по обыкновению, пошел в кофейню Телефона Сето сыграть партию домино, но удивлению его не было конца, когда он заметил, что Кривого Арута в кофейне не было. Решив, что тот вышел на двор, он долго его поджидал, но не дождался... Он постеснялся спросить об этом Телефона Сето, так как последний был уже не прежний: в его кофейне негде было упасть яблоку от русских.

Дурно почувствовал себя гробовщик Енок от тоски, защемило его сердце до того, что не вытерпел — подошел и спросил.

— Я поставил его на работу на вокзальном майдане, чай продает русским, — был ответ.

В первую минуту не понял его гробовщик Енок, но, вспомнив вокзал, вокзальный майдан, тихо вышел он из кофейни Сето и быстрыми шагами направился к вокзалу. Шел с невероятной быстротой, едва дыша, почти бежал посередине улицы гробовщик Енок. Его толкали, ругали иной раз, но он не замечал: шел с опущенной головой, размахивая руками; обветшалые концы его длинной черной измятой чухи касались пыли и подметали улицу. Шел он неровным шагом, подобно королю Лиру, тая в душе горечь и скорбь.

Гробовщик Енок шел на вокзал. Наконец он добрался до вокзала и, казалось, только сейчас понял, что находящаяся перед ним прежняя безлюдная площадь превратилась в базар, — стала, как ее называл Телефон Сето, «вокзальным майданом». Теми же быстрыми шагами гробовщик Енок вступил на вокзальный майдан и только было хотел поискать своего приятеля, Кривого Арута, как кто-то потянул его за полу чухи.

— Пошел прочь, бездельник! — думая, что чуху его дергают солдаты, выругался

гробовщик Енок, но...

— Да помилуй, что с тобой, не узнаешь разве? — услышал он голос Кривого Арута и обернулся на него. Опешил, остолбенел гробовщик Енок от увиденного. Кривой Арут стоял за маленьким столиком и разливал чай из жестяного чайника; стоявший рядом русский солдат протянул руку за чаем.

— Так ты, Арут, уже за работой! — воскликнул гробовщик Енок, вперив тупой взгляд в Кривого.

— А что же делать, друг Енок, помаленьку денежки зарабатываем, ничего не поделаешь... — не то оправдываясь, не то гордясь, ответил Арут и начал полоскать стоявшие перед ним стаканы. Долго смотрел с завистливой улыбкой на лицо своего бывшего партнера гробовщик Енок, задал несколько отрывистых вопросов о торговле, сказал: «Пора назад», — резко повернулся и быстрыми шагами воротился в город.

На следующий день гробовщик Енок на вокзальном майдане за маленьким столиком торговал хлебом и колбасой. А неделю спустя городские дети уже не боялись проходить мимо его лавки: гробовщик Енок, ликвидировав гробовое дело, занялся «ручной торговлей».

Вот каковы были перемены, имевшие место в городе в течение одного двух месяцев. А глупец Вародян все еще ждал, что центр известит его о каких-то таинственных постановлениях, после чего только, по его словам, должны были произойти известные перемены...

И вот... Вновь и вновь вспоминаю, дорогой читатель, как сегодняшний день: впереди всего, инициатором всего, предвестником всякого более или менее бросающегося в глаза общественного начинания в этом наирском городе был он — Амо Амбарцумович — Мазут Амо. На этот раз также орудовал он, Мазут Амо, этот влиятельнейший житель города, управляющий «Светом» и председатель Местного Комитета Товарищества. Само собой разумеется, что его тесной близостью к Товариществу нужно объяснить и то, что Мазут Амо знал все своевременно и своевременно же сообщал кому и куда следует. Но на этот раз было нечто, о чем надлежало довести до сведения всех. «Сообщи всем!» — было написано, по словам т. Вародяна, на бумаге, полученной — правильно было бы сказать присланной — из центра. Тов. Вародян своими собственными глазами видел эту бумагу в конторе Мазута Амо, — Амо Амбарцумович сам показал эту любопытную бумагу т. Вародяну. Тов. Вародян же, неизвестно почему, счел нужным известить об этом прежде всего г. Марукэ; однако передал не все содержание бумаги, присланной из центра, а лишь ту «долгожданную весть», которую принесло сообщение.

Г-н Марукэ недолюбливал т. Вародяна, этого, как он выразился, «наирского

варжапета», на спине которого, как тебе уже известно, читатель, от «центра печали» остались любопытные следы. В свою очередь, т. Вародян смотрел сверху вниз на этого «европейского осла»... Однако же это не особенно благожелательное отношение т. Вародяна к г. Марукэ вытекало не из личных, а скорее из объективных, общественных мотивов. Дело в том, что Марукэ иной раз позволял себе делать довольно-таки двусмысленные замечания по адресу Товарищества. Этого не могли ему простить не только Вародян, но также и Клубная Обезьяна, хотя он, этот сапожник Симон, и не был членом Товарищества, а лишь сочувствующим.

И как смел г. Марукэ? Кто, кто только не знал, что гораздо легче в темной комнате выругать «Никола», чем даже во сне допустить неблагоприятное отношение к Товариществу. Товарищество, как мы имели случай заметить в первой части, было центром и даже «сверхцентром». Если ты, дорогой читатель, пожелаешь представить себе хоть самым отдаленным, самым тусклым образом этот центр — представь себе следующее.

Где-то в неизвестном месте, в месте, о существовании которого никто, даже т. Вародян, не знает, на ирском, китайском или же, кто его знает, может быть, вавилонском, икс-игрек-зет — неизвестном городе, на окраине города, в центре, а может быть, на кладбище — одним словом, в таком месте, существование которого даже подвергнуто сомнению, есть, существует — уж не знаю, как это выразиться, чтобы ты мог понять, — ну, скажем, есть неизвестная комната, избушка или землянка. Так вот тут, в этой землянке, о месте которой, как было сказано, никто не знает, живет колоссальных размеров паук, невидимый паук, паукообразный мозг. Этот паук, этот паукообразный мозг, из своего неведомого убежища протягивает свои щупальца и, начиная отсюда, плетет он свою паутину — прочно и беспощадно. Протягивает свои щупальца, растягивает паутину в сторону ирских городов, ирских мозгов, сердец, волей; распространяет — на Муш, Битлис, Диарбекир; на Тифлис, Феодосию, Энзели; на Иерусалим... Одним словом, во все углы, где есть хоть один ирянин: Нью-Йорк, Женеву, Калькутту, Перу, Рио-де-Жанейро, Панаму — не знаю, есть ли еще город, куда бы не дошли нити, железные ниточки Мозгопаука. Вьет, вьет он свою железную, прочную паутину из города в город, из страны в страну, а сам остается незримым, неуловимым, неосязаемым, словно чудо. Это — поистине чудо, страшная тайна, поразительное диво... Вот, дорогой читатель, что такое Товарищество как центр, или, как удачно определяет тов. Вародян, «сверх-центр». Но я еще не говорил о самом главном, самом удивительном: боялся, что не поверят. Дело в том, дорогой читатель, что

Мозгопаук может в любую минуту протягивать, заставлять действовать, двигаться, как ему угодно, свою всемирную паутину, каждую ее нить, отдаленную ниточку, ее кончик, кончик кончика... Вот в чем дело!

Представляете вы, как там, в неизвестном месте, сидя у себя в комнате, этот пауковый мозг, или Мозгопаук, может двигать, вытягивать, шевелить свои многочисленные щупальца, кончики щупальцев—и вот в Нью-Йорке известные нити, ниткообразные люди сделают то, что захочет центр, Центро- мозгопаук... Потянет он, Центромозгопаук, тысячу первую ниточку — и вот в Женеве, в центре Европы, в издающемся на наирском языке «Дрошаке» появляются громовые тронизвергающие призывы... Но это еще ничего— есть наиневроятнейшее, поистине чудообразное.

Двадцать пять лет назад, дорогой читатель, сидя под семейной кровлей с женой, детьми, сестрой либо матерью, ты мог пить чай, обедать или ужинать, как вдруг в один прекрасный день Центромозгопаук в своем неизвестном месте зашевелил самым тоненьким своим щупальцем, кончиком щупальца — и вот, ты представляешь себе? — там, на зеленых берегах Босфора, в гнусной столице султанов, с легкостью лимонадной пробки, словно крик наболевшей души наирян, то есть самого Товарищества, как выражение справедливого протеста, взорвался, взлетел на воздух Оттоманский Банк Не чем иным, как незаметнейшим движением незначительнейших ниток Центромозгопаука было вызвано то, что слетела с трона великолепного Елдиза — Елдизская гидра, та, о кровавом отечестве которой первый человек мира, неподкупный наирофил, по внушению Центропаука, сказал:

«Больной человек должен умереть!»

Да и расскажешь ли все! Неиссякаемы, неисчерпаемы подвиги его. И после всего этого до чего смешным должно было казаться то поистине ни в коем случае не допустимое обстоятельство, что такое высокомерное ничтожество, каким был г. Марукэ, позволяло себе делать различные непозволительные намеки, бросать бумажные стрелы по адресу Товарищества. Об этом, конечно, уже давно знал, давно успел прощупать через свои шустрые местные ниточки Центромозгопаук, но «насекомое» было уж слишком незначительное, ничтожное, чтобы из-за него стоило шевелить щупальцами и взрывать г. Марукэ подобно Банк-Оттоману... да-с! Этому ничтожеству и незначительности г. Марукэ следовало скорее приписать то на первый взгляд необъяснимое явление, что он оставался безнаказанным и даже в этом наирском городе продолжал причинять своей ничтожной тяжестью незначительные колебания одной из незаметнейших ниточек Центромозгопаука — т. Вародяну... Ну, конечно, т. Вародян знал свое дело; он превосходно усвоил тончайшее

искусство вибрации ниточек, в чем для т. Вародяна имела поучительное значение его кратковременная близость с покойным товарищем Каро, с тем несчастным т. Каро, который, как известно из первой части моего романа, так преждевременно погиб при взрыве домика, находившегося у моста Вардана. Тов. Вародян на заре своей революционной деятельности именно у этого т. Каро впервые получил боевое крещение революционера. У него получил впервые т. Вародян красное евангелие революционного бунтарства — «Логик толпы». Думается нам, излишне тут снова припоминать и тот роковой урок, который получил на своей героической спине Вародян в «центре печали» в виде синих следов от шомпола. После такого внушительного революционного прошлого было, конечно, очень трудно иметь дело с т. Вародяном, тем более что в последнее время он все более и более привлекал к себе внимание местной главы нитки Центромозгопаука, Амо Амбарцумовича — Мазута Амо. Необходимо заметить также, что с этих дней стал идти в гору т. Вародян, который впоследствии в жизни наирского города сыграл столь заметную роль; Вародян, который в конце концов был не чем иным, как «жалким варжапетом», «воплощением наирского тупоумия», как говорил про него г. Марукэ. Чем он заслужил доверие Мазута Амо — один бог ведает. Но факт остается фактом: с той поры его участие в суতোке городской жизни бросалось в глаза даже сильнее, нежели участие в ней врача Сергея Каспарыча, этой второй, вернее, правой руки Мазута Амо. Я уже не говорю об Осепе Нариманове — левой руке Амо Амбарцумовича, по мере роста событий все более и более утрачивавшего свое влияние. Обстоятельство это покажется еще более удивительным, если я скажу, что до того Сергей Каспарыч и Осеп Нариманов по назначению центра были членами Местного Комитета, председателем которого, как уже известно нам, был и остался до конца Мазут Амо. Это означало, что и врач и мировой судья, оба наравне с Мазутом Амо, были подвержены непосредственным колебаниям (мозго-инструкциям) Центропаука. Тов. Вародян же... Ну что же он представлял собою? Вначале, казалось, его и не существовало. Случалось не раз, что он, т. Вародян, будто невзначай, заглядывал в контору Мазута Амо, когда там заседала Тройка Местного Комитета. И что же? Он, т. Вародян, не успевал просунуть голову внутрь, как врач — и всегда этот высокомерный врач! — поднимал нос, нюхал воздух, глядя на т. Вародяна, и — «Пардон», говорил врач с кислой улыбкой, после чего голова т. Вародяна отскакивала, как пружина, оставалась за закрытой дверью и, подобно охотничьей гончей, чутко внимала шушуканьям, происходившим внутри. Да, так было прежде, но впоследствии... Впоследствии т. Вародян стал знаменитым деятелем, внушительной персоной, и много, много раз врач Сергей Каспарыч и мировой судья Нариманов имели

случай ждать очереди в его приемной!..

Однако прости, читатель, что я столь сильно запутал нить моего рассказа. Но знаешь ли — пишущий историю тех знаменательных дней похож на несчастного малыша, который, — как это частенько случалось в нашем городе, — выкупавшись в реке и собираясь одеться, находит рукав своей рубашки мокрым и столь туго стянутым в узел, что сам черт затруднился бы его распутать. Он знает, что это дело рук окружающей его гогочущей детворы; он вне себя от злости, ему хочется отомстить, но он так же отлично понимает, что если начнет преследовать товарищей, двое-трое из них отстанут и намочат, стянут в узлы остальную одежду. Поэтому ему ничего не остается, как бросить стянутую в узел рубашку. Нам точно так же, читатель, остается — дабы не забыть события и происшествия, лишенные узлов, — бросить в сторону комочки и узлы и перейти к продолжению романа.

Как я уже сказал, т. Вародян своими собственными глазами видел в конторе Мазута Амо полученную из центра бумагу, в которой, между прочим, была изложена инструкция «Сообщи всем!» Так вот, выходя из конторы Мазута Амо, т. Вародян случайно встретил Марукэ и решил, что необходимо в первую очередь сообщить интересную новость именно ему, этому тупоголовому наирянину: во-первых, он этим покажет тупоголовому господину, что он, Вародян, не такая уж простая персона, что он действительно имеет связи с важными центрами и всякую новость может узнать из первоисточника, а затем — согласно инструкции Мазута Амо — «прощупает почву». Марукэ же как противник, так или иначе, представлял собой довольно интересную «почву» с точки зрения зондирования общественных настроений...

— Интересные новости, — сказал т. Вародян г. Марукэ, будто так, между прочим. — Довольно-таки интересные.

— Ну? — посмотрел г. Марукэ на т. Вародяна поверх очков. — В чем дело? По лицу т. Вародяна пробежала улыбка. Он закашлял, поднося руку к губам: «Кхи, кхи, кхи!» — точь-в-точь, как Сергей Каспарыч.

Г-н Марукэ вышел из себя.

— 1 Скажи, если знаешь что-нибудь, чего ты виляешь?

Тов. Вародян побагровел, глаза его налились кровью.

— Через семь дней мы будем в Эрзеруме! — точно бомбу бросил в лицо г. Марукэ т. Вародян, повторяя слова Мазута Амо и глядя на него победоносно. Г-н Марукэ устремил на него поверх очков полный пренебрежения и укора взгляд. «Идиот!» — точно плюнул, точно ударил по лицу т. Вародяна тяжелой дубиной г. Марукэ и, повернувшись, удалился, подергивая правым плечом.

Тов. Вародян знал, что в этом наирском городе г. Марукэ один из тех немногих,

кто читает газету; г. Марукэ знал из газет, что уже объявлена война Турции. И что же вы думаете? Этим он был недоволен. Станный, удивительный был человек г. Марукэ. Но с каким бы глубоким презрением ни относился к нему т. Вародян, как бы ни колола глаз неприятная краснота кончика его носа, что, как говорили, было результатом потребления спиртных напитков, — повторяем, невзирая на все эти странности, все же г. Марукэ заслуживал исключительного внимания. Уж одно то, что этот пьянчуга «европеец» осмеливался не раз, да еще в присутствии Мазута Амо, порочить Товарищество — одного этого было достаточно, чтоб Марукэ в моих глазах — и в глазах каждого из нас — предстал бы в ореоле героя. Дорогой читатель, г. Марукэ — мой единственный герой!.. Что же из того, что г. Марукэ впоследствии не совершил ни одного героического поступка. Быть может, для этого нужны были иные обстоятельства, может быть, в том были виноваты условия, а не г. Марукэ. Но в тот вечер г. Марукэ, так или иначе, имел дерзость совершить столь важный героический поступок, что действительно он, этот красноносый Марукэ, заслуживает, чтобы считаться моим единственным героем!..

Он знал, да, он читал уже в газете, что Турции объявлена война, и, быть может, он был единственным человеком в городе, кто по мотивам, одному ему известным, был недоволен этим. Но не думайте, что г. Марукэ был «анархистом» или же высказывался против войны по какому-нибудь убеждению. О нет, он не был ни «анархистом» и не чем иным, а лишь «головкой гвоздя», как впоследствии называл его т. Вародян, то есть человеком, созданным для того, чтобы его били. В этом оригинальном мнении т. Вародяна была известная доля истины, если не в прямом, то в косвенном смысле. Может быть, и впрямь надлежало бить по этой «головке гвоздя», — мы во всяком случае пока не знали других причин для г. Марукэ быть недовольным вопросом, к нему не относящимся, — объявлением войны Турции. Одно было ясно: г. Марукэ заметил, что Товарищество уже зашевелилось, и это служило прежде всего одною из причин его неудовольствия, а не социалистические и иные соображения. Он, Марукэ, по причинам, лишь ему известным, был против Товарищества. Собственно, выражаясь конкретно, был он против местной Тройки и ее прислужников: если они говорили, что это черное, Марукэ утверждал, что — белое; где они говорили да, Марукэ утверждал — нет. И так во всем; точно так же и теперь. В городе уже поговаривали, шушукались, шли всякого рода слухи... Назывались уже известные имена... С нетерпением ожидали желанного дня. Этот желанный день, как рассказывал в городском саду знакомым барышням т. Вародян, должен был открыть перед страной Наири привлекательные горизонты. В городском клубе еще вчера Кинтоури

Симон, ударяя бубновой дамой по столу, говорил с гордостью, что «пойдет в добровольцы». Понимал и чувствовал, конечно, г. Марукэ, что скоро начнется кадрили и понесется стремглав, понимал и ждал с неудовольствием. Ныне же, после встречи с т. Вародяном, постиг г. Марукэ, что камень скатился; мрачный, ворча себе под нос, направился он в городской клуб, надеясь узнать там все подробности.

Вечерело. В городском саду уже зажигались огни. Военный оркестр играл «Боже, царя». Г-н Марукэ догадался, что кадрили уже началась. Вспомнил он то прошедшее воскресенье, и в его, г. Марукэ, мозгу встал козлоголовый Мазут Амо. Протиснувшись сквозь густую толпу, г. Марукэ направился к клубу и остановился. Перед ним на том же зеленом и четырехугольном карточном столе стоял Мазут Амо. Внизу, у карточного стола, стояли с обнаженными головами врач, Осеп Нариманов, Арам Антоныч, генерал Алеш, т. Вародян, Кинтоури Симон — сапожник. Они кричали во всю глотку «ура». Не успел Марукэ очнуться, как сзади кто-то толкнул его в бок и заорал на ухо:

— Шапку скинь, не понимаешь, что ли! — Обернулся — то был Абомарш, с пенсне на носу и козлиной бородкой. Лицо его выражало таинственное почтение, пенсне искривилось, голова же походила на карикатуру, извлеченную из «Хатабала» Г-н Марукэ снял шапку, не понимая, в чем дело. Но вот уже оркестр перестал играть, все надели шапки; но теперь он один стоял со шляпой в руке и с поднятым носом.

— Соотечественники... — произнес, видимо продолжая прерванную речь, Мазут Амо, — и наступило молчание. Все чутко внимали ему. — Близок, близок день, — продолжал далее Мазут Амо, — когда, выйдя из пепла и пробудившись от вековой спячки, воспрянет тысячелетняя — свободная Наири!

Взволнованный, говорил в этом духе Мазут Амо. Но вот голос его усилился, он поднял руку, и зажглись его глаза: видно было, что он кончал свою речь.

— Каждый из нас обязан помочь сегодня чем только может. Я не сомневаюсь, — закончил речь Мазут Амо, — что наши доблестные войска через неделю войдут в Эрзерум!

Так закончил свою речь Мазут Амо — и вновь прогремел оркестр; толпа завывала. Именно после этого крайнего воодушевления и случилось неожиданное, невероятное, недопустимое: Марукэ, эта «тупоголовая скотина», как его прозвал после происшествия генерал Алеш, этот жалкий Марукэ, как только Мазут Амо закончил свое слово, крикнул, что было силы, по адресу оратора: «Идиот!» Вмиг наступило гробовое молчание, удивление, электрическое напряжение. Бац! — с треском легла на щеку Марукэ звонкая, увесистая пощечина т. Вародяна.

Г-н Абомарш поторопился прийти на помощь т. Вародяну поучительным, внушительным пинком ноги. Г-н Марукэ растянулся во весь рост — пенсне его отлетело в сторону.

— Пьян,— объявил Сергей Каспарыч, подоспев на место происшествия.

— Пьян,— подтвердил т. Вародян,— необходимо взять его в полицию, чтоб привести в чувство.— И в виде доказательства т. Вародян сообщил, что дословно то же самое, полчаса назад, сказал ему на улице безо всякого повода г. Марукэ. Г-на Марукэ взяли в полицию.

Не знаю, был ли пьян Марукэ, но впоследствии из одного достоверного источника мне стало известно, что г. Марукэ действительно был пьян. То же самое подтверждал впоследствии и Бочка Николай, рассказывая, что и тот день, приблизительно за два часа до происшествия, Марукэ, стоя у его, Бочки Николая, прилавка, «влил и себя целую бутылку крепкой «смирновки». Но в данном случае важны, конечно, не столько показания Бочки Николая, тем более что указанное им количество водки едва ли могло «сбить с ума» г. Марукэ, сколько показание «достоверного источника», выше мною отмеченного, так как... Однако же прежде всего надлежит сказать, что это был за «источник», на который можно положиться в таком тонком и непонятном вопросе, каковым был поступок Марукэ в тот грозный, многозначительный, исторический час. «Источником» этим был лет тридцати- тридцати двух наирянин, появившийся в этом наирском городе лишь в последние дни, но старожилам города знакомый с детства: то был Каро Дараян, племянник инспектора реального училища, Арама Антоныча. Его семи-восьмилетним ребенком Арам Антоныч послал в Московский Лазаревский институт, ибо после смерти родителей Каро Дараян остался на его попечении. Отослав его в Москву, Арам Антоныч сразу достиг двух целей: во-первых, избавил себя от забот о нем, во-вторых, считал, что исполнил этим свой последний долг по отношению к памяти своего сородича. Как выехал Каро Дараян в Москву, так и остался там до окончания института. А потом, хоть и вернулся на Кавказ, но не показывался в родном городе, несмотря на неоднократные просьбы Арама Антоныча, сильно хотевшего видеть его у себя, быть может, для того лишь, чтобы, как он часто говорил генералу Алешу, «раскусить этот плод своего благородства». Но затем, спустя некоторое время после переезда Каро Дараяна в Баку, Арам Антоныч сразу перестал говорить вообще о «плоде своего благородства». Когда же, бывало, напоминали ему о племяннике, он делал кислую гримасу и менял разговор. Дошло даже до того, что в один прекрасный день Арам Антоныч взял да написал племяннику (который, кстати, почти не отвечал на письма своего «благодетеля» и не проявлял никакого желания появиться в тех краях), чтобы не вздумал он

показаться ему на глаза; буде приедет в родной город — чтоб не вспомнил о доме дяди: дом дяди будет закрыт перед негодным племянником. Так написал племяннику Арам Антоныч в своем последнем письме — и вот по прошествии двух месяцев после этого письма, накануне изложенных нами выше происшествий, откуда ни возьмись, в одно прекрасное утро прибыл Каро Дараян в этот наирский город и остановил извозчика... как раз у квартиры г. Марукэ. Это последнее обстоятельство показалось весьма странным не столько горожанам, сколько Араму Антонычу. Дело в том, что, хотя до отправления в Москву два сверстника, товарищи по уличным играм, г. Марукэ и Каро Дараян, знавали друг друга, но ведь с тех пор утекло так много воды, и по разным руслам, что, казалось бы, не оставалось никакой возможности для их сближения. Ведь, как известно, г. Марукэ по окончании семилетней городской школы попал в Берлин — между тем Каро Дараян безвыездно жил в Москве, а потом переехал в Баку, — так что, казалось, они не имели никакой возможности и повода для встреч — и вдруг... Каро Дараян возвращается в этот город и с вокзала едет прямо на квартиру г. Марукэ, подробно называет вознице адрес г. Марукэ... Понимаете ли вы? Каро Дараян, отсутствуя целые двадцать лет и не видя в лицо г. Марукэ за все это время, называет вознице адрес г. Марукэ, останавливается у него на квартире, как давнишний приятель, и, еще не переступив его порога, на улице у дверей, на глазах у возницы, крепко целуется с совершенно ему не знакомым, но чудом сблизившимся с ним г. Марукэ!.. :)то видел своими собственными глазами сапожник Кинтоури Симон и рассказал со всеми подробностями т. Вародяну. Вот этот именно Дараян, этот задушевный друг, г. Марукэ, на следующий день после печального происшествия в городском саду уверял всех, что действительно г. Марукэ был пьян. Мне кажется, что я имею право домерять Каро Дараяну, этому, на мой взгляд, самому достоверному источнику, во-первых, благодаря тому, что он впоследствии стал известен в городе как личность в высшей степени чистая и неподкупная, и, во-вторых, потому, что навряд ли этот сердечный друг г. Марукэ мог быть ^интересован в присвоении своему закадыке диплома пьяницы, тем более что этот злополучный «диплом» вскоре послужил поводом к лишению Марукэ его на горящего учительского диплома — обстоятельство, в котором был замешан Мазут Амо, что, впрочем, он и сам не скрывал. Он Мазут Амо, как старший попечитель приходских училищ, говорил на попечительском, созванном в срочном порядке в виде исключен не в конторе Амо Амбарцумовича2 а в церковной свечной лавочке, где попечительский состав приходских училищ всегда бывал в сборе, — вот на этом совете с пеной негодования у рта говорил Мазут Амо, что «в наирской школе, где обучается,

зреет и окрыляется наше подрастающее поколение, на плечи, на слабые плечи которого завтра должно быть возложено — о, я этому верю! — дело созидания светлого наирского будущего, — уважаемые члены совета, — я нахожу, что в такой священной области в высокой роли учителя и инспектора не должно быть места бездельникам и пьянчугам, подобным г. Марукэ...» Так говорил на заседании попечительского совета приходских школ Мазут Амо, и ему, совету, ничего другого не оставалось, как одобрить предложение Мазута Амо и отрешить от должности Марукэ, что имело место два дня спустя, к великому равнодушию Марукэ и к вящему удовольствию всего города.

Врач Сергей Каспарыч отныне сидел в воинском присутствии, а по вечерам, по обыкновению, в городском клубе занимался утешающей игрой в карты, но с той только разницей, что ныне увеличились ставки: вместо «десять», «пятьдесят», «сто» теперь со стороны зеленых столов слышались возгласы: «три с половиной», «пять», которые в переносном смысле понимались как суммы, имеющие отношение к сотням и тысячам. Вторая бросающаяся в глаза перемена, которая особенно нравилась Сергею Каспарычу, заключалась в том, что городской клуб стали посещать новые, совершенно свежие люди, по большей части молодые офицеры, очень быстро привыкшие к врачу и ко всему остальному обществу: Осепу Нариманову, генералу Алешу, Араму Антонычу и другим. Я нарочно в первую очередь не отметил Амо Амбарцумовича, так как он хотя и не перестал посещать клуб, но показывался возле зеленого стола не периодически, как раньше, а урывками, и то в поздние вечерние часы, после одиннадцати. Кто, кто только не знал, что день ото дня расширялась, принимала гигантские размеры общественная деятельность Мазута Амо, в результате чего для личных удовольствий ему оставалось очень мало времени. В городе уже шли какие-то слухи, шушукались довольно явственно, и эти шушуканья находились в какой-то связи с т. Вародяном. Уже назывались известные имена: «Андраник», «Дро», «Кери» — поговаривали в домах, на улицах. И эти имена связывались какими-то таинственными нитями с конторой Мазута Амо; из неведомых мест протягивались какие-то неведомые нити и сплетались вокруг управляющего «Светом» Мазута Амо, включая в свою орбиту также и т. Вародяна. Да, именно прежде всего Вародяна, а затем уж врача и Осепу Нариманова. Неизвестно, находилось ли это в связи с шушуканьем или нет, но как раз в те дни как-то утром рядом с приказами пятиэтажного дома горожане нашли наклеенные другие приказы, напечатанные наирскими буквами, — собственно, не приказы, а объявления, под которыми черным по белому значилась подпись: Амазасп Аствацатрян. То был сам управляющий «Светом» Амо Амбарцумович Асатуров — Мазут Амо... Объявления эти

призывали горожан, призывали, как было сказано в них, в воскресенье, в 12 часов, в зал летнего клуба на «публичное собрание».

Далее оповещалось, что «О текущем моменте» сделает доклад Амазасп Аствацатрян (читай — Мазут Амо) — и затем: «После доклада будет обмен мнений по целому ряду важных вопросов. Вход для всех свободный.

Ответственный распорядитель Амазасп Аствацатрян» — вот содержание этих объявлений.

Прочитав объявление, цирюльник Васил повеселел, почему-то просияло его лицо, словно весеннее утро: казалось, маслом помазали его лицо. Потирая руки, зашел он в сапожную Кинтоури Симона и весело воскликнул:

— Эй, ты, Клубная Обезьяна, тебя вызывает Мазут Амо, знаешь ли ты?..

Сапожник Симон в самом деле поверил, что его вызывает Мазут Амо, и, положив нож, встал на ноги.

— А где же он? — спросил сапожник, хотя и уязвленный грубостью цирюльника, но внутренне довольный тем, что и он тоже имеет отношение к такой персоне, как Амо Амбарцумович — Мазут Амо. — Где же он? — переспросил Кинтоури Симон цирюльника Василя с заискивающей улыбкой, думая, что Мазут Амо ждет его на улице у входа.

— Вот! — ответил Кинтоури Симону цирюльник Васил, поворачиваясь спиной к нему и показывая указательным пальцем... на то свое место, которым сиделся со дня своего появления на свет. Догадался Клубная Обезьяна, понял, что «разыграл» его цирюльник Васил.

— Тьфу, бесстыдник! — плюнул Кинтоури Симон зычным голосом вслед цирюльнику, уже успевшему выскочить на улицу...

Но я забыл отметить, что рядом с объявлениями Мазута Амо в тот же день были наклеены и другие объявления, на заголовке коих хотя и было напечатано уведомление «От нефтепромышленного т-ва «Свет», однако внизу вновь значилась его, неизменно его, Мазута Амо, подпись. В них, в этих новых объявлениях, доводилось до всеобщего сведения, что «по причине затруднительного состояния транспорта правление т-ва «Свет» имеет честь уведомить уважаемую публику, что начиная с сего числа керосин будет продаваться по рубль пять копеек пуд», то есть на пятнадцать копеек дороже. Несмотря на особо торжественный и малопонятный стиль первого объявления Амазаспа Аствацатряна, это второе объявление Мазута Амо более взволновало умы горожан, нежели первое. Тем более, что злые языки начали уже говорить, — и среди них особенно выделялся язык г. Марукэ, — что в повышении цены на керосин, центр (то есть центральное правление т-ва «Свет»,

находящееся в Баку) неповинен и что это результат его, Мазута Амо, инициативы — преимущество, коим Мазут Амо был так щедро наделен и благодаря чему не раз удостоивался особого внимания центрального правления. Не знаем, насколько основательны были эти разговоры, но мы, памятуя известную русскую пословицу, склонны думать, что «дыму» должен был предшествовать если не «огонь», то, по крайней мере, нечто похожее на него.

Дорогой читатель, обрати внимание на это мое совершенно деликатное и осторожное отношение к различного рода «шушуканьям», направленным против личности Мазута Амо. Скажите на милость, кто из сколько-нибудь уважающих себя авторов мог бы пожелать, чтоб его обвиняли в злословии на своего героя — или если не «героя», так, по крайней мере, на самую значительную, центральную фигуру своего романа? Для меня, в особенности, не только как для автора, но и как для человека было бы вдвойне неприятно подобное обвинение, так как

чувствую, что если бы я допустил по адресу занимающей меня персоны хоть маленькую недобросовестность, меня бы преследовали, лишили бы сна, изгрызли бы сердце мое искрометные глаза Мазута Амо. Впились бы в меня с высоты виселицы страдальческие глаза Мазута Амо...

В воскресенье, как было оповещено в объявлении, к 12 часам дня Мазут Амо уже стоял за еще не поднятым занавесом клубного зала и приготавлился к выступлению. Смотрел он сквозь щель занавеса на собравшуюся в зале публику и, казалось, нервничал. Стоявший рядом с ним т. Вародян также проявлял признаки неудовольствия. Дело в том, что зал был далеко не полон. В первом ряду сидели бок о бок: генерал Алеш, Осеп Нариманов, врач. Арам Антоныч занимал первое кресло во втором ряду и, приподняв нос, разнюхивал воздух; в волнах воздуха, казалось, он искал чего-то, но не находил. Через два ряда за ним сидел сапожник Симон — Клубная Обезьяна. За этим поместился цирюльник Васил, который, поглаживая бороду, смотрел ему в затылок. Кроме сих почтенных наирян назовем еще Хаджи Манукофа Эфенди, некоторых преподавателей и преподавательниц реального училища и женской гимназии, учителей и учительниц приходских школ, священника Иусика Пройдоху, г. Абомарша; этим почти исчерпывался контингент совершеннолетних горожан. К ним, конечно, мы не причисляем студентов, курсисток и многих воспитанников (большею частью питомцев Эчмиадзинской духовной академии), которые как бы и сами чувствовали свое несовершеннолетие и стояли вдоль стен и у входа, хотя в зале было значительное количество скамеек, никем не занятых.

В десять минут первого Мазут Амо забеспокоился: посмотрев на часы, он

обратился к т. Вародяну: «Нужно начинать». Последний вышел на минуту, что-то шепнул сторожу, а когда вернулся и сказал Мазуту Амо, что можно начать, со стороны входа послышался звонок, после чего вошли в залу несколько новых лиц: два-три студента, два-три приезжих офицера. Последними вошли г. Марукэ и Каро Дараян: они поместились на задних скамейках. Вскоре закрылась дверь и поднялся занавес...

И вот тут-то и развернулось перед зрителями чрезвычайно странное, неожиданное зрелище: в правом углу сцены стояло приспособление, походящее на кафедру, возле которого поместился Мазут Амо. В центре же сцены, перед тем же роковым зеленым столом (вероятно, в клубе не нашли другого) в председательском кресле сидел в качестве председателя — можете вы себе представить? — т. Вародян...

«Дурно, дурно пахло от этого наирского собрания», — говорил впоследствии г. Марукэ. Говорил он это тогда, когда это собрание уже вошло в историю и его печальный исход был очевиден даже для гробовщика Енока...

Но ведь не мог же слышать «этого дурного запаха» — мы не говорим даже о гробовщике Еноке, который вообще мало разбирался в окружающем — но и не явившийся на собрание лавочник Колопотян или наирянин-ремесленник, ничего не слышавший об этом собрании, а если бы даже и слышавший, — ничего бы не понявший? Мог ли слышать, мог ли чувствовать набитый в вагоны, словно разлагающаяся рыба, наирский лапотник этот дурной запах? Тот мужик, что выполз из своей темной землянки, впервые увидел железную дорогу и, страшась ее неведомых далей, выл по-стариковски, пел свою дикую песнь «Веее-зут!..» — гениальное рычание тупого безысходного горя, делающее честь разве затравленному в зимнюю стужу волку, устремившему нос на луну...

Четверть первого собрание открылось.

«Кхи! кхи!» — сухо закашлял, поднеся два пальца к губам, т. Вародян и сказал свое вступительное слово коротко и внушительно. «Уважаемые дамы и господа!» — начал т. Вародян, хотя, кажется, дам и не было в зале, если, конечно, не считать учительницу ориорд Сато, которую лишь в переносном смысле можно было бы назвать «дамой», и то если б подобная невоспитанность была допустима в этом наирском городе. Тов. Вародян в своем вступительном слове сказал приблизительно о том, что наступили великие, знаменательные дни для всякого, для всех народов, и в частности для наирского народа. Он сообщил, что г. Амазасп сделает доклад о значении этих дней, и уверен, что почтенная публика с должным вниманием отнесется к обсуждаемому вопросу. «Слово принадлежит докладчику г. Амазаспу», — сказал в заключение товарищ Вародян и уселся.

Пока г. Амазасп подошел к кафедре, выпил воды, в зале, под водительством генерала Алеша, стали кашлять и прочищать горло, словно все вместе собирались держать речь. Но вскоре наступило полное молчание, и Амо Амбарцумович — Мазут Амо наконец начал...

Я не в силах, конечно, воспроизвести со стенографической точностью эту историческую, знаменитую речь Мазута Амо. Но в сторону внешнее, то есть описание жестов, голоса, интонации и прочих тонкостей, — ибо, дорогой читатель, это сверх моих сил, — я постараюсь рассказать со всей правдивостью содержание его исторической речи и да простит меня тень Амо Амбарцумовича, если я по обстоятельствам, от меня не зависящим, позволю себе малейшее, хоть самое незначительное отступление.

— Хачатур Абовян в своем известном романе «Раны Армении» («Скорбь патриота») рассказывает, как немой лидийский царь Крез заговорил, благодаря чуду прелестной родной речи, — с таким подъемом начал свою знаменитую речь Мазут Амо. — Смысл сказанного в том, — разъяснил он затем, — что существование человека, лишенного отечества, — рана, язва; родная же речь — целебный бальзам. Вы знаете, конечно, с какой великой любовью, с каким воодушевлением воспевали все наши великие поэты, как, например, Алишан и Гамар Кати- па, — продолжал далее Мазут Амо, — свою родную землю, свой родной край, свое отечество. Почему? — поставил ребром вопрос Мазут Амо. — Потому, что, как известно всем и в чем он сам уверен, — эти два понятия — родная речь и родной край, гармонически сливаясь друг с другом, создают то величавое, являющееся венцом развития всякого народа гигантское здание, которое именуется нацией. Родной край и родная речь — вот те два величайших стимула, кои, сливаясь друг с другом, из всякого развитого народа, из всякого разбросанного, рассеянного племени составляют нерасторжимое целое, составляют, как он говорил, живой организм — цельную нацию. Но прежде всего зададим мы себе конкретный вопрос: что представляет собой первый признак содержания понятия нация — родной край? И, конечно, ни для кого не будет новостью, если он, Мазут Амо, скажет, что это та земля, на которой жили предки данного народа: та земля и вода, кои питали, в продолжение веков поддерживали существование дедов, прадедов, прапрадедов, прапрапрадедов данного народа. Он потому- то и подчеркивает «деды, прадеды», так как желает обратить особое внимание почтенной публики на то, более чем необходимое и в данном случае основное обстоятельство, что понятие «отечество» связано не только с той землей, той территорией, на которой живет ныне данный народ. О нет, конечно нет, уважаемые слушатели! — Тут сам Мазут Амо принужден применить

существующий в отношении национального вопроса в научной литературе основной взгляд, носящий название «исторической точки зрения». — Дело в том, уважаемые слушатели, что то, что мы разумеем под словом «отечество», не возникает, не организуется в течение дня. Отечество возникает в течение веков и наследуется оно наследниками веков. Если привести пример, так неужели этот маленький городок — их отечество?.. Было бы смешно, если бы думали так. О нет! Мазут Амо совершенно убежден, что никто из присутствующих так не думает. Однако как же могут они утверждать, что та или иная территория, на которой в настоящее время живут чуждые друг другу племена, на каком основании возможно доказать, что эта территория является также отечеством данного народа, его законной собственностью? Не чем иным, как живой историей, то есть теми имеющимися в наличности историческими следами, кои оставил данный народ на данной территории, — вот где нужно искать центр тяжести вопроса, уважаемые слушатели. Короче: основным признаком понятия отечество является культура, культурное прошлое данного народа — вот самое существенное.

Итак, после выяснения этой основной точки зрения для каждого должно быть ясным, что если определенное племя или народ волею обстоятельств в течение веков владел известной территорией и на месте своего жительства не оставил никаких следов, никаких культурных памятников, — напротив, уничтожил творческие следы народа, до него там жившего, — то ясно, уважаемые слушатели, что подобное племя или народ не имеет никакого права говорить о своем временном убежище как об отечестве.

Долго-долго говорил в этом направлении Мазут Амо, он приводил конкретные примеры, вроде — «Мы и враг», и затем перешел к рассмотрению второго из двух выдвинутых им «основных понятий» — к родному языку:

— Подобно тому, как душа оживляет косное тело и создает живую связь между всеми его частями, всеми членами ячейки, точно так же язык, родной язык является той душой, лучше сказать, тем цементом, который соединяет данный народ в его отечестве, доставшемся ему от веков, связывает членов этого народа меж собой, создает из них нерасторжимое целое, называемое нацией. Вот как разрешает, уважаемые слушатели, проблему о языке и отечестве, иначе — национальную проблему — современная наука. Следовательно, выражаясь яснее, отечество является телом данной национальности, язык же — душой. Значит, уважаемые слушатели, если мы захотим конкретизировать вопрос и применить его к условиям нашего отечества, мы должны сказать: вот наша душа, вот наше тело! Давно, очень давно отделилась наша душа от нашего тела, — но, уважаемые слушатели, покуда жива душа — живо и тело. Как бы ни

были слиты язык и отечество в живом целом, именуемом «нацией», в истории не раз бывали случаи, когда та или иная нация благодаря неблагоприятному стечению обстоятельств, лишившись одного, цеплялась за другое и, таким образом, имела возможность уберечь свою физиономию, как, например, мы, наиряне. И что же представляем собою мы сегодня как нация? Однако лучше сказать, что представляли мы собою до сих пор, так как отныне новые и привлекательные горизонты открываются перед нами! Я бы сказал: душу без тела, духовную нацию... Ибо, на самом деле, лишь родной язык защищал нас от опасности ассимиляции и лишь ему одному обязаны мы тем, что не исчезли, подобно очень и очень многим нациям, как-то — ассириянам и вавилонянам. Что такое была Наири доселе, уважаемые слушатели, да, именно что такое была она — живая Наири? Наири, уважаемые слушатели, был я. Наири были вы и все те, кто, подобно нам, говорил на сладкозвучном наирском языке, о котором столь изумительные вещи рассказывает Хачатур Абовян... Ныне я говорю, уважаемые слушатели, — сказал, патетически повышая голос, Мазут Амо, — о духовном Наири, и в этом смысле могу сказать, что Наири там, где имеется хоть один наирянин. В первом, телесном смысле, смысле отечества, уважаемые слушатели, Наири — там, где жили наши деды, прадеды, прапрадеды, — скажем в Ване, Бит-лисе, Диарбекире, в Киликии, Дерсиме, Каратисаре. Но, повторяем, в смысле языка, в смысле духовном Наири там, где сегодня живет хоть один наирянин. Однако где, где только, скажите на милость, не живет ныне наш брат наирянин? В каком только уголке мира не ступала нога лишенного отечества наирянина?.. Тень изгнанного наирянина носилась по лицу земли в продолжение пяти веков... И ныне, уважаемые слушатели, уже настал час, наступила пора, чтоб вернулся в свой родной край блуждающий по белому свету наирянин. И вот, со всех концов мира, из самых глухих-уголков земного шара протягивает руки к своему отечеству, к родной Наири, ее блудный сын. Подобно лишившемуся тела призраку, хочет воплотиться тысячелетняя Наири. Но как?..

Отсюда именно и перешел Мазут Амо к рассмотрению «текущего момента». Нужно заметить, однако, что эта первая, теоретическая часть исторической речи Мазута Амо не особенно захватила присутствующих. Слушатели, правда, не шумели, не кашляли и не вели себя беспокойно, но казалось, будто они сидят тут исключительно из чувства долга, приставив уши к какой-то чертовой мельнице. Но в эти уши не вливалось ни воды и ни капельки мысли. Однако же вторая часть лекции вызвала довольно сильное оживление и до того взволновала присутствующих, что даже Кинтоури Симон — Клубная Обезьяна — взял слово и... чуть было не высказался.

— Вы знаете, конечно,— сказал Мазут Амо, перейдя к практической части вопроса,— что вот уже третья неделя, как объявлена война нашему вековому врагу — Турции. Наши доблестные войска уже вошли в пределы врага, и близок, близок желанный день, когда наши победоносные войска вступят в Эрзерум. Центр тяжести ныне в том, чтобы мы, наиряне, прониклись серьезностью момента, отнеслись бы с должным вниманием к разворачивающимся событиям, имеющим для нашего «вопроса» весьма существенное значение. Достаточно понять лишь то обстоятельство, чтобы не остаться ныне сидеть сложа руки; необходимо оказать заветному для нас всех делу самую широкую поддержку. А теперь разрешите мне,— сказал, повышая голос, взволнованный Мазут Амо,— сообщить вам одну радостную весть, имеющую огромное, исключительное значение: получена грамота за подписью государя императора в адрес наместника, коей разрешается нам организовать добровольческие отряды, другими словами, нам разрешается иметь нашу собственную армию для защиты оккупированных районов нашего древнего отечества!..

Не успел еще закончить эту фразу Мазут Амо, как по знаку, данному, кажется, врачом Сергеем Каспарычем, в зале поднялась буря аплодисментов. Многие из присутствующих, как-то: Кинтоури Симон и цирюльник Васил, дошли до такой степени воодушевления, что стали бить ногами об пол и испускать вопли. Но раздался звонок председателя, сухо, отрывисто прозвучал звонок т. Вародяна с председательского места — и в зале водворилась тишина. Пользуясь случаем, Мазут Амо глотнул из стакана воды и продолжал:

— Это значит, что отныне наш вопрос ставится на прочную, реальную почву и нам остается с распростертыми объятиями пойти навстречу создавшимся возможностям: постараться организованно встретить окончательное освобождение нашего многострадального отечества.— Тут Мазут Амо вновь выпил воды, хотя пил минуту назад, и: — но я, уважаемые слушатели, еще не сообщил самого главного,— сказал он таинственным голосом. Было видно, что он хочет сообщить чрезвычайно интересную весть, но затрудняется ее выразить.— Я должен вам сообщить, уважаемые слушатели,— сказал он наконец, вытирая губы,— что той же самой высочайшей грамотой—мы имеем сведения из самых достоверных источников — нам даны определенные заверения относительно будущего, и мы категорически можем утверждать, что помимо общего благожелательного отношения к нашему «вопросу» у нас уже имеются реальные, следовательно, и официальные гарантии, полученные в письменном виде от высочайших инстанций!..

Тут вновь зал загремел бурными аплодисментами; затем, перейдя к заключению своей лекции, Мазут Амо удалился на несколько шагов от кафедры и, подойдя к публике, сказал приблизительно следующее:

— Мы, уважаемые слушатели, переживаем решающие исторические дни, и нам необходимо определенно и отчетливо выявить наше организованное отношение к совершающимся событиям. Нужно уметь пользоваться случаем! — подчеркнул поучительно Мазут Амо. — Необходимо делом, а не словом прийти сегодня на помощь заветной цели освобождения родины. Проще: нужно, чтобы идея добровольчества стала достоянием широких слоев населения. Пусть запишется в добровольцы всякий, кто может, кто способен носить оружие, и тогда перед нашими потомками мы с гордостью, с полным правом можем сказать, что сделали все, что требовалось от нас в этот тяжелый момент истории, что мы действительно исполнили наш сыновний долг в отношении нашей дорогой родины, нашей — я в это верю, о, в этом я не сомневаюсь! — возрождающейся Наири!..

Так окончил свою историческую речь Мазут Амо и, как и следовало ожидать, удостоился бурных, несмолкаемых аплодисментов присутствовавших. Не знаю, кто это начал, но через минуту весь зал, встав на ноги, пел наирский гимн; присутствующие под управлением Сергея Каспарыча, как один человек, пели «Мер Айреник».

Затем начался обмен мнений. Начал его врач Сергей Каспарыч, а вслед за ним высказались Осеп Нариманов, Арам Антоныч, г. Абомарш, священник Иусик Пройдоха. Все соглашались с г. Амазаспом; все выражали желание по мере сил прийти на помощь общему делу. До этой минуты все шло хорошо, или, как говорится, катилось по маслу, и т. Вародян собирался было уже внести свое практическое предложение, как внезапно, совершенно неожиданно-негаданно случилось довольно нежелательное, невероятное недоразумение.

— Прошу слова, — раздался с самого конца зала голос, незнакомый девяноста, а быть может, и девяноста

девяти процентам присутствовавших. Все обернулись назад, а т. Вародян и Мазут Амо посмотрели вперед, голос этот был неуместный и неожиданный. Обернулся, еле поворачивая жирную шею, и Арам Антоныч.

То был голос Каро Дараяна, племянника Арама Антоныча. Чувало сердце Арама Антоныча, что ничего хорошего это не предвещает, и лицо его скривилось.

— В... о чем хотите вы говорить? — спросил т. Вародян, встав с места.

— Я бы хотел задать г. Аствацатрянцу лишь один вопрос, — ответил Дараян, — можно?

Тов. Вародян повернулся к Амо Амбарцумовичу, бросив на него

вопросительный взгляд. Выражение лица Амо Амбарцумовича осталось непонятным для т. Вародяна.

— Пожалуйста,— сказал т. Вародян, взявшись за звонок.— Но только коротко. Публика, затаив дыхание, ждала. Смотрел на Дараяна Амо Амбарцумович не то с удивлением, не то с иронией; лицо его, казалось, говорило: «Не с ума ли сошел этот человек?»

— Я бы хотел задать г. Аствацатрян лишь один вопрос,— сказал Дараян с чужим, ненаирским произношением.— Не может ли г. Аствацатрян сказать, кто видел ту грамоту, в которой будто бы «имеются реальные обещания, данные якобы от высочайших инстанций», и если таковая, то есть грамота, имеется, то как сформулированы дословно эти обещания?..

Подобно тому как камень, скатившись с горы и падая в реку, вызывает плеск и волнение, подобно тому как футбольный мяч в самый жаркий момент игры от неуклюжего удара одного из игроков, лопаясь, вызывает всеобщее недовольство и ропот,— точно так же этот неуместный вопрос Дараяна, взорвавшись в атмосфере всеобщего воодушевления, вызвал не то негодование и иронию, не то иронию и негодование. Вскочили со своих мест Сергей Каспарыч и Осеп Нариманов и окинули взором публику. «Кто этот ребенок, который осмеливается задать в таком собрании подобный глупый, ребяческий вопрос?» — вот что можно было прочесть на лицах Сергея Каспарыча и Осепа Нариманова. Вслед за ними поднялись генерал Алеш, г. Абомарш, Кинтоури Симон и Арам Антоныч. Лицо последнего приняло такое выражение, будто говорило: «Простите меня, недостойного, виновен я!..» Кто-то, кажется Амо Амбарцумович, фыркнул с иронией, и по всему залу пронесся оглушительный хохот. «Дзин, дзин, дзин!» — тихо и снисходительно раздался председательский звонок. «Смейтесь, но нужно, однако, и успокоиться», — как бы говорил звонок в руке т. Вародяна.

— Успокойтесь, господа! — воскликнул т. Вародян, сделав шаг к публике, но и он сам, не будучи в силах заглушить смех, фыркнул.

— Тише, тише! — пришел ему на помощь уже успокоившийся и ставший опять серьезным Мазут Амо.— Садитесь, господа,— сказал он, показывая рукой на скамейки.

Публика расселась наконец с шумом и гвалтом. Затем важно и с серьезным видом выступил вперед Мазут Амо и дал достойный ответ:

— Я должен сказать любознательному молодому человеку, что подобные вопросы могут задавать — пусть простит меня любознательный господин — лишь школьники...

Зал загрохотал бурными аплодисментами.

— Позвольте! — закричал, что было сил, растерявшийся Каро Дараян. — Нельзя же обманывать людей!

..

И вот тут-то и — как заметили мы выше — получил слово — представляете вы себе? — Клубная Обезьяна.

— Прогоните этого толстоголового осла! — заорал с глубоким возмущением сапожник и, сорвавшись с места, собирался было броситься в сторону Дараяна, но... цирюльник Васил, воспользовавшись случаем, будто это вышло случайно, подставил ногу Клубной Обезьяне; Клубная Обезьяна растянулся во весь рост на полу, как бревно. Поднялась суматоха: крики, гогот, шум... Что случилось в дальнейшем, читатель, — неинтересно, ибо случилось неизбежное. После водворившейся тишины, по предложению Осепа Нариманова, было поставлено на голосование законное предложение Клубной Обезьяны. Амо Амбарцумович, после удаления, по единогласному решению присутствовавших, из зала Дараяна, в двух словах пригвоздил к позорному столбу «безрассудных молодых людей», подобных Дараяну. Тов. Вародян же довел до всеобщего сведения, что в ближайшие дни в

церковной свечной лавке начнется запись добровольцев; затем собрание было объявлено закрытым, и публика разошлась. Но нет — я забыл об одном: перед тем как закрыть собрание, Мазут Амо, — несмотря на то что об этом в городе были расклеены объявления, — счел необходимым и со своей стороны напомнить уважаемой публике, что в девять часов вечера в том же самом зале выступит с лекцией, посвященной «Будущему наирского вопроса», специально с этой целью прибывший из столицы известный военный генерал-профессор имярек. Мазут Амо просил публику явиться на лекцию приезжего генерал ученого и засвидетельствовать ему свое уважение за его благожелательное отношение к наирской тяжбе.

Было уже четыре часа, когда закрылось собрание.

Г-н Марукэ и Каро Дараян! Нечего сказать — нашли-таки друг друга эти два «остолопа», — как окрестил их Арам Антоныч — инспектор училища. В течение последних дней только они и были предметом разговора в городе. «Нашла крышка свою кастрюльку!» — говорил про них священник Иусик Пройдоха. Марукэ, так или иначе, был «своей собакой», но кто же был тот, новый «висельник», — как говорил о нем Хаджи Онник, — «нашлявшаяся по разным Московиям скотина?» Кто был этот глупец, которого помнят старожилы лишь играющим в бабки и который вернулся к себе на родину как чужестранец, как блудливый сын? Кто он был, чем занимался, «на чей хлеб он мазал масло?» —

вот вопросы, интересовавшие горожан, начиная от генерала Алеша, кончая цирюльником Василом. Был ли он учитель, врач, инженер, аблакат, торгаш, пустомеля? — вот вопросы, которыми задавались, в особенности после вышеописанного любопытного недоразумения, пытливые горожане. Но вопросы эти оставались без разрешения, оставались без ответа по той простой причине, что находили тысячу ответов в различных головах, в зависимости от их склонностей и конструкций. Например, в голове цирюльника Васи́ла засела мысль, что Каро Дараян не кто иной, как «ветрогон», — но что бы мог значить «ветрогон» — об этом следовало спросить его самого. Между тем Хаджи Онник Манукоф Эфенди был склонен думать, что Каро Дараян не «ветрогон», а «ветропожиратель», или же, дословно, «ветроглотатель», но что за ветры пожирал или глотал он — об этом тоже следовало спросить у Хаджи. И если бы спросили его, Хаджи Онника Манукофа Эфенди, то сей почтенный наирянин весьма фигурально разъяснил бы, что он понимает под словом «ветер». «Ветры — те изготавливаются в желудке!..» — ответил бы, гогоча, известный англоман. Но вопрос в корне изменяется и переносится на совершенно «реальную» почву, когда он из собачьих мозгов цирюльника Васи́ла и Хаджи Онника Эфенди переходит в «практические» мозги генерала Алеша, Мазута Амо, врача, Осепа Нариманова или же т. Дараяна. В мозгах последних этот вопрос принимает совершенно иной характер. Прежде всего очень многое имел сказать мозг Арама Антоныча, инспектора реального училища, по той простой причине, что он, Арам Антоныч, был родным дядей Каро Дараяна и затем — один лишь он, Арам Антоныч, знал, имел сведения о том, чем занимался его племянник в Москве и в Баку. Да, именно — раньше всего Арам Антоныч, а уж потом Мазут Амо. «О безрассудных действиях» недостойного племянника написал Араму Антонычу прежде всего его родной брат Герасим Антоныч, занимавший должность старшего бухгалтера в Бакинской конторе нефтепромышленного т-ва «Свет». Можете ли вы себе представить? Оказывается, он, этот «ветроглотатель» и «остолоп», занимался тем, что восстанавливал рабочих против наирского нефтепромышленного т-ва. Вот чем было занято, дорогой читатель, это «бессловесное животное» до приезда в родной город! И притом, имейте в виду, против того нефтепромышленного т-ва, председателем центрального правления которого было Известное Имя — одна из ячеек Центромозгопаука. Вот каковы были печальные сведения о племяннике, полученные Арамом Антонычем, к сожалению, только два месяца назад, и то от лица, коему он не мог, не имел основания не верить. Получив эти ошеломляющие сообщения о своем племяннике, Арам Антоныч решил никому ничего не говорить об этом. Но каково было его удивление, когда, по

прошествии двух дней со времени получения этого печального известия, зашел к нему Мазут Амо и после двух-трех обычных расспросов — «Довольно любопытные новости слышал о твоём племяннике!» — бросил Мазут Амо неожиданно в лицо Араму Антонычу полный укора намек. Арам Антоныч побледнел как полотно и в тот же день, после ухода Мазута Амо, написал племяннику свое последнее письмо, без подписи, в котором порицал и пригвождал к позорному столбу Каро Дараяна. В этом письме Арам Антоныч строго-настрого наказал племяннику, чтоб он никогда не вспоминал о своём дяде и не показывался ему на глаза. И вот уже предал было забвению, не говорил больше об этом нежелательном обстоятельстве при встречах с Арамом Антонычем Амо Амбарцумович, когда позорно вырос, появился неожиданно в своём родном городе Каро Дараян... Но об этом мы уже говорили достаточно обстоятельно выше, при описании позорного случая с г. Марукэ в городском саду. Ныне же, когда Местный Комитет, в лице Мазута Амо и т. Вародяна, приступил к кипучей деятельности, понятно, выражаясь мягко, детские выходки нечестивого племянника далеко не могли утешить Арама Антоныча, его дядю и приемного отца. Каро Дараян, этот жалкий червячок, осмеливался вставлять какие-то палочки в колеса Товарищества!..

В тот же день, в восемь с половиной часов вечера зал летнего клуба был набит битком.

Первые ряды уже были заняты высшими слоями города. Такое общество собиралось в городских клубах очень редко — раза два в год. Положим, в городских клубах (наирский город кроме летнего имел и зимний клуб) такое общество никогда не собиралось. Подобное общество собиралось раз в год — и то на квартире Мазута Амо в день рождения его бесподобной дочери — Черноокой Примадонны, когда присутствовал сам уездный начальник и почти все высшее, изысканное общество. Ну, уже само собой разумеется, в такие дни за столом Мазута Амо вы бы не встретили Кинтоури Симона, цирюльника Васи́ла, ныне присутствовавших в зале клуба. Не осмеливался совать голову на квартиру Амо Амбарцумовича в эти исключительные дни даже т. Вародян. Впрочем, впоследствии, после описанных мною событий т. Вародян также присутствовал в эти исключительные дни на квартире Мазута Амо и, должно быть, по примеру врача, Сергея Каспарыча, стал даже прикладываться к ручке Черноокой Примадонны, поздравляя последнюю. Этот «дохлый варжапет» в последнее время переходил всякие границы...

Вечером, как мы сказали, ещё не было девяти часов, а уже сидели в первом ряду: генерал Алеш, комендант города (высокий офицер), удостоивавшийся в последнее время особого внимания со стороны дочери Амо Амбарцумовича

— Черноокой Примадонны; врач, Арам Антоныч со своей женой — Желтокудрой Тыквой; Осеп Нариманов и почти все сколько-нибудь заметные чиновники из пятиэтажного здания, — всех не перечислишь. Ждали уездного начальника и его жену, за которыми отправился лично, в сопровождении Черноокой Примадонны, сам Мазут Амо. Тут же были и Ангина Барсеговна, уважаемая супруга Амо Амбарцумовича, упомянутый выше комендант — высокий офицер. Говорили злые языки, что в последнее время Ангина Барсеговна была небезразлична к этому высокому молодому человеку, который в свою очередь сделал ее предметом особого внимания, невзирая на почтенный возраст Ангины Барсеговны. «Из любви к яичнице лижет ручку сковородки», — вот злонамеренное мнение цирюльника Басила об этом тонком обстоятельстве. Злой, змеиный язык имел этот «ушахбаз-цирюльник», — как охарактеризовал его, цирюльника Васи́ла, содержатель кофейни Сето. Кто, кто только не явился послушать в тот вечер генерал-профессора! Даже Барсег Абгарыч, учитель математики, по причине слабости легких ленившийся показываться в обществе, — даже и он, его жена, по прозвищу Цыпленок, подруга жены — Душка Варя, — все, все из высших слоев были здесь без исключения. Среди них были, смешавшись с ними, сидевшие в средних рядах зала Хаджи Онник Эфенди Манукоф, г. Абомарш, отец Иусик Пройдоха и даже — хотя и довольно близко от входа, однако уж и не так далеко от высшего общества... — учителя и учительницы приходской школы: Бюзанд Вардересян, преподаватель армянского языка, изучивший свой предмет под руководством Манука Абеяна не гордившийся этим; ориорд Вардуи Затикян, не переносившая ориорд Нвард, сама ориорд Нвард Луспаронян, «стриженная», рядом с г. Ашотом, тем, окончившим академию Ашотом, который, под влиянием событий, начал еще ревностнее проводить «пропаганду наирского языка среди обрусевшей молодежи» и имел в этом деле, особенно теперь, значительный успех. Среди них и за ними расположились, наполнив всю залу, разные горожане попроще, как-то: мелкие торговцы — Карапетян, Ионесян, Погосян, Погосян второй, Карапетян третий — студенты, ученики, академисты (последние, то есть ученики Эчмиадзинской академии, составляли самостоятельную категорию, среднюю между студентами и школьниками; так было в этом наирском городе, так было, вероятно, и во всех других городах; они служили предметом особой ненависти со стороны воспитанников русских школ и сами не упускали случая выразить последним чувство своего крайнего отвращения), — одним словом, не было человека, который бы здесь не присутствовал. Впрочем, недоставало гробовщика Енока и Кривого Арута, но они, вероятно, были заняты энергичной торговлей на вокзальном майдане...

Без пяти минут девять. Зал пришел в движение, точно колышущееся море колосьев. Все повернули головы к дверям; уже входили наряженные и блестящие: уездный начальник, его жена Агриппина Владиславовна, Черноокая Примадонна, Мазут Амо... Мазут Амо под замороженными взглядами публики проводил их до предназначенных для них мест и, вновь выйдя из зала, неизвестно почему — исчез...

Ровно в девять часов взвился занавес. Сцена была пуста — на ней не было никого. Посреди сцены стоял тот же карточный стол, на сей раз покрытый красным сукном; около него два стула, а с правой стороны нечто вроде трибуны, у которой делал доклад четыре часа назад Мазут Амо. Сейчас же после поднятия занавеса с левой стороны показались: Мазут Амо под руку с генерал-профессором... «Ах!» — застонал зал от восторга и испуга. Уж не знаю, были ли то аплодисменты или настоящий взрыв... Невиданной и невообразимой овации удостоились генерал-профессор и Мазут Амо. Упал к ногам генерал-профессора пышный букет из свежих цветов, брошенный нежной ручкой Черноокой Примадонны. Мазут Амо поднял брошенный дочерью букет и, глубоко поклонившись, поднес дорогому гостю. Таких вот невиданных почестей удостоился генерал-профессор, еще не начав лекции. И гремел зал от бурных аплодисментов, на которые глубоко взволнованный профессор отвечал, наклоняя свою сиявшую лысиной голову. Кратким словом представив профессора публике, Мазут Амо сел за председательский стол и взял колокольчик, косо поглядывая в сторону Ангины Барсеговны, полная рука которой с небесной невинностью касалась суконного рукава высокого офицера. Дзинь-дзинь-дзинь! — зазвучал председательский звонок; аплодисменты прекратились, и наступило напряженное молчание.

Но как раз в эту самую минуту случилось небольшое недоразумение, которое не могли заметить в первых рядах, но которое, однако же, было отмечено сидевшими у входа; на следующий день о нем рассказывали в городе со всеми подробностями. Случай этот, в сущности, ничего особенного не представлял. В то время как он произошел, начал свою интересную лекцию, ничего не замечая, генерал-профессор. Тем не менее впоследствии этот случай вызвал разноречивые толки, и даже позднее в темной комнате пятиэтажного дома нашли какие-то любопытные документы, имевшие отношение к чести т. Вародяна и касавшиеся «случая»... Но об этом потом. Дело в том, что, как только поднялся занавес, когда зал еще гремел от рукоплесканий, дверь, уже закрытая, вновь открылась, и тихо вошли — так, что их заметили всего один-два из сидевших у входа, — Каро Дараян и г. Марукэ. Ничего, конечно, в этом не было необыкновенного, и, как мы уже сказали, почти никто не обратил на это

внимания. Но сейчас же вслед за ними, почти так же незаметно вошла неизвестная личность и предложила им «следовать за собой и выйти на минутку из зала». Трудно сказать, почему Каро Дараян и г. Марукэ последовали за личностью беспрекословно, почему они даже не протестовали, но факт остается фактом; по выходе из зала случилось так, что неизвестная личность зашагала впереди них к центру города. И пока воодушевленный генерал-профессор излагал в клубном зале героические страницы древней наирской истории, в тот же самый момент Каро Дараян и г. Марукэ покорно следовали за неизвестной личностью. Они шли, — да, они поняли уже, Каро Дараян и г. Марукэ, что они шли за неизвестной личностью в темное место...

Тов. Вародян в это время находился на квартире Мазута Амо. На него была возложена обязанность приготовления к банкету: после лекции генерал-профессор должен был быть приглашен на ужин к Мазуту Амо. И вот, как революционер, вполне понимающий свои обязанности, т. Вародян с исключительным рвением взялся за работу на великолепной квартире Мазута Амо, прекрасно учитывая то огромное значение, какое имело это дело для будущности наирского племени.

Как раз об этой будущности, о блестящей будущности наирского племени и говорил в тот самый момент генерал-профессор в клубном зале. Так и сыпались, словно из рога изобилия, розовые обещания на ошастливленные сердца присутствовавших. Исходя из подобного луковице черепа генерал-профессора, возникая из его мозга, развертывалась перед слушателями светлая и блестящая будущность наирская. И от тепла, исходящего от этой блестящей будущности, таяло сердце Ангины Барсеговны: светлая будущность наирская, точно жгучий электрический ток, наполняя сердце Ангины Барсеговны, переходила оттуда в суконный рукав коменданта города. И блеском озаренные той же светлой и лучезарной будущности смотрели искрометно, полные надежд на грядущие дни, глаза Мазута Амо, — смотрели эти глаза проникновенно на нежно соединившиеся руки Ангины Барсеговны и высокого коменданта...

Давно уже не заглядывал г. Марукэ в обычные утренние часы — как это делал он раньше — в парикмахерскую цирюльника Василя. Лишившись школы, он вместе с тем лишился и привычки ходить в парикмахерскую. Щеки и подбородок г. Марукэ ныне скребла тупая бритва, привезенная Каро Дараяном из Москвы, и они, эти щеки и подбородок, начинавшие уже грубеть, утратили свою привлекательность даже в глазах цирюльника Василя. Необходимо добавить также, что г. Марукэ давно уже не пользовался тем исключительным

уважением, которое питал к нему раньше цирюльник Васил. И пусть не покажется удивительным, что в то утро, когда часов этак в одиннадцать вышли из «центра печали» Каро Дараян и г. Марукэ и, возвращаясь домой, проходили мимо парикмахерской — «На здоровье», — процедил не без иронии цирюльник Васил: то была едкая насмешка, злой намек по адресу г. Марукэ. И г. Марукэ, конечно, понял насмешку цирюльника Басила; он это понял отлично, но промолчал.

Для Марукэ отчасти, конечно, и для Каро Дараяна то утро было утром печали и неожиданностей. Не успели они пройти мимо парикмахерской цирюльника Басила, как перед ними вырос, выступил перед ними, словно упавшее из другого мира чудо, — Ншан Маранкозян, тот самый Ншан Маранкозян, что держал лавку охотничьих принадлежностей на Александровской улице, но в один прекрасный день, ликвидировав ее, выехал в «Болгарию по разным делам». Читатель безусловно помнит из первой части моего романа, почему закрыл свою лавку Ншан Маранкозян: то было на деле позорное бегство — и ничего больше; бегство, вызванное, как нам известно, могучим влиянием Мазута Амо, у которого он, этот жалкий житель Вана, норовил вырвать первенство в руководстве наирскими делами. И вот, после своего позорного падения и бегства, он вернулся в этот наирский город вооруженный и в папахе... С ним приехали еще трое-четверо таких же, как и сам Ншан Маранкозян, вооруженных гтапахоносцев.

— Познакомьтесь, — сказал Ншан Маранкозян Марукэ, крепко поцеловав его предварительно. — Болгарский студент, ныне доброволец — Грант Кюльпенкиан, он же Онник Узунпачахлиан; а это наш Болгарин, — сказал Ншан Маранкозян с загадочной улыбкой на лице, показывая на третьего папахоносца, и затем: тов. Странник, — закончил Ншан Маранкозян с таким ударением, что даже Каро Дараян, не знавший не только их, но и самого Ншана Маранкозяна, невольно устремил взор на лицо т. Странника. Лицо же это, кстати, очень мало походило на лицо странника: бритое, выхоленное — оно скорее напоминало лицо салонного лакея, чем революционера-странника. Да не посетует на меня светлой памяти Странник за такое сравнение, тем более, что этим я не хотел указать на его внутренние качества, а лишь имел в виду очертить его внешность. Подобные приемы простительны работникам пера, в распоряжении коих нет ни красок, ни угля, а имеются лишь одни слова, десятки которых, конечно, не передадут того, что даст один удар кисти или же простой штрих углем. Счастливы, тысячу раз счастливы ваятели, художники и даже обыкновенные фотографы, ибо, дорогой читатель, сплошь да рядом встречаются лица, открытые, как книга: смотри и читай как книгу, — да, именно, бери и прочти. К

этой категории лиц относилось и лицо т. Странника, его нужно было лишь видеть Фигуре. Странника подобало иметь европейскую соломенную шляпу; нежную белую панаму с широкими полями, — лицо же его было закрыто надвинутой на глаза чудовищных размеров папашой, а на боку т. Странника висело солидное оружие, ставшее впоследствии символом целой «государственной организации» Это оружие ему совершенно не шло, однако, как впоследствии доказал т. Странник, он был достоин того, чтобы носить такое оружие.

Будучи представленным в свою очередь г. Марукэ, познакомился с Ншаном Маранкозяном и его группой и Каро Дараян. Затем они разошлись.

— Кто это такие? — спросил Каро Дараян, когда они входили в комнату г. Марукэ.

— Национал-демократы, — ответил г. Марукэ с уверенностью осведомленного лица...

В комнате поджидала их известная нам из первой части моего романа учительница второй приходской школы ориорд Сато, — та самая «неудостоившаяся венца» ориорд Сато, которая по причинам, уже нам известным, не имела возможности окончить гимназию; как мы уже знаем, в этом печальном обстоятельстве были повинны они — Осеп Нариманов и генерал Алеш. Но давнишняя история эта была предана забвению. Ныне же «неудостоившаяся венца» ориорд Сато фактически (но неофициально) удостоилась «венца»: поговаривали, что она была равнодушна к г. Марукэ; Марукэ же, в особенности после ухода из школы, не избегал нежного внимания ориорд Сато.

Много, много страдала в ту ночь до утра, до возвращения г. Марукэ, ориорд Сато, лежа на кровати г. Марукэ. Однако странно то, что по возвращении г. Марукэ в разговоре ориорд Сато с ним тщетно было бы искать нежных, любовных ноток; она даже не бросилась, не обняла шею любимого рыцаря, не поцеловала его. А лишь... захохотала, когда вошли г. Марукэ и Каро Дараян, поздравила их со «свадьбой» и затем быстро-быстро стала рассказывать про... Товарищество.

Ориорд Сато рассказывала, что Товарищество давно уже приступило к работе. Тов. Вародян каждодневно с десяти часов утра в свечной лавочке производил запись добровольцев. Рассказывал т. Вародян шепотом посетителям свечной лавки интересные новости об обещаниях, данных высочайшими инстанциями. И уже приступил Мазут Амо к организации (по известным соображениям!) «Общества Мелкого Кредита». Мазут Амо всецело был охвачен лихорадочной деятельностью: он лично был в центре и получил от губернатора разрешение на

организацию «Общества Мелкого Кредита», чем, как говорил на собрании учредителей председатель собрания Мазут Амо, хотели прийти на помощь крестьянству округа,— именно крестьянству. В этом деле огромную услугу оказал ему, Мазуту Амо, уездный начальник. Он на прошении, адресованном Мазутом Амо губернатору, наложил краткую резолюцию: «Не встречаю препятствий».

Но существеннее всего то, что в своем неведомом месте уже пришел в движение Центропук: из неизвестного своего угла растянул он сети по белому свету, захватив Ван, Битлис, Букреш, Нью-Йорк, и получил «согласие». И прибывали все, собирались уже в пограничных районах влиятельные имена и вели за собою отряды папахоносцев... Вернулся даже, говорила ориорд Сато, этот шутник, т. Маранкозян, и привез с собою папахоносцев; он собирается на днях отправиться на фронт под начальством т. Странника,

— А как же нам быть? — спросила взволнованно ориорд Сато, эта «неудостоившаяся венца». — Почему не растолковываем народу?..

Марукэ и Каро Дараян посмотрели друг на друга; в их взглядах было что-то печальное, мрачно-загадочное. В глазах Каро Дараяна можно было, кроме того, читать улыбку, смешанную с иронией. Но ориорд Сато увлекалась, молодая кровь возмущалась в ней.

— О каком народе речь? — ответил Каро Дараян вопросом на вопрос не столько ориорд Сато, сколько самому себе, и внутренним оком своим посмотрел, измерил от края до края «страну Наири».

Видел Каро Дараян, часто встречал наирских рабочих еще в Баку; не раз приходилось ему слышать, как их прозывали «штрейкбрехерами». И это еще в Баку, в промышленном центре. Помнил он, Каро Дараян, их, приходивших из темных наирских хижин, чтоб, спустя два, три, четыре года, нести с Бакинских промыслов в те же хижины в лучшем случае замасленный сундучок, десять рублей денег и свои разрушенные легкие; и знал он, что для работы «почва неблагоприятна»: мало, слишком мало качеств могли бы обнаружить для изменения сложившегося у него взгляда наирский лапотник и провинциальный торгаш.

— Через два дня я выезжаю на фронт! — объявил Каро Дараян. С этим намерением он и приехал в родной город: как подлежащий мобилизации, он призывался по месту рождения.

Два дня спустя Каро Дараян отбыл на фронт.

Прошло два, три, четыре дня — прошла целая неделя, и в городе не случилось ничего нового, кроме разве того, что в воскресенье перед обедней отец Иусик

Пройдоха выступил с амвона церкви св. богородицы с воодушевленным словом, — вернее, вдохновенным патриотическим призывом.

Напомнил своей пастве о. Иусик о тех полных значения и тайн «ходах», которые, как мы знаем, имелись в крепости, в церкви Апостолов и в мосту Вардана.

— Цари наирские сочетали гениальность с хитростью, — сказал о. Иусик, — они умели связывать душевное с телесным, меч с крестом, веру с военной доблестью. Хитрые и гениальные, они, к сожалению, одновременно были себялюбцы и смутьяны, и от этого именно и погибла древняя страна — тысячелетняя Наири. Погубила нас низкая, коварная, эгоистическая измена: мы стали жертвой себялюбцев васаков, — сказал с пеной негодования у рта отец Иусик Пройдоха. — Но пусть вспомнит дорогая паства светлые имена Вардана Мамиконяна и Саака Партева и воодушевляется ими. Лучше пасть на поле брани во имя святой веры и отечества, чем влачить скотское существование, кое влачим мы свыше пяти веков. Но вот наступил час возрождения, и на Аварайр, на новую Варданову битву призывает всех своих честных сынов наше исстрадавшееся отечество. Веками растоптанный, веками оскверняемый дух наирский призывает вас сегодня последний раз. Зовет он из развалин монастырей, святых обителей дедов, из заплесневелых могил мучеников, — призывает вас все еще затапываемая вера ваших отцов, вера ваших дедов, слава вашего отечества; призывает вас, мужья доблестные, вас, все еще не забывших вашу святую веру и славу отечества; призывает тебя, народ простой, тебя, чуждого корысти богачей, — тебя, всегда готового переносить всякие лишения во имя веры и отечества. Да не послужит примером для дорогой паствы жизнь горделивых и корыстных богачей, ибо не они наследуют царство небесное. Не им достанется и царство земное — освобожденная отчизна, народ дорогой, ибо ты, ты должен пахать, сеять и собирать ее живительные плоды, а не корыстолюбивые богачи, разлагающиеся на зловонных ложах разврата и предпочитающие пресный хлеб пекарни благоухающему лавашу тонира. Вот так бичевал о. Иусик Пройдоха в этом своем знаменитом слове богатеев города, то есть лавочников Лорис-Меликовской улицы, и, конечно, был прав: из них никого не было в церкви и из них еще никто и никогда ни единого гроша не бросил в кружечный сбор в церкви св. богородицы. Паства его состояла из простого народа, и он в этом знаменитом слове возвеличил ее, обратился к ее сердцу, безгрешному, как ангел божий, и чистому, как голубь. Вот этих именно, безгрешных сердцем, долженствующих, по мнению о. Иусика, наследовать царство небесное, и призывал он на новую Аварайрскую битву. И что же?

Призыв его в сердцах слушателей нашел значительно более глубокий, более реальный отклик, чем, скажем, исторический призыв самого Мазута Амо в городском саду. На следующий день в свечной лавочке «записалось» довольно много ремесленников и живших на окраине города полукрестьян, так что заносивший их в списки т. Вародян невольно воскликнул про себя: «Браво, Пройдоха!» Впрочем, конечно, имело основание и то мнение, по которому эта «запись», будучи, с одной стороны, результатом проповеди отца Иусика Пройдохи, с другой, вызывалась тем обстоятельством, что многие из записавшихся все равно не сегодня-завтра должны были призываться пятиэтажным зданием, — так что они, как добросовестные наиряне, предпочли наирский «штаб» русскому. Да и кроме того, записываясь в добровольцы, они избавлялись от ужаса «красных вагонов». Записавшись таким образом, они с нетерпением стали ожидать, как сами говорили, прибытия отряда. С неменьшим нетерпением, чем записавшиеся, ожидали прибытия отряда т. Вародян и Мазут Амо. Если уж, конечно, не с таким нетерпением, но все же с довольно напряженным любопытством ожидал его весь город. Ожидалось и через два-три дня должно было прибыть в этот наирский город первое наирское войско. Под предводительством известного начальника в ближайшие дни должен был выступить на фронт этот первый наирский отряд, взяв с собой местных добровольцев.

Дня за два до прибытия отряда в городе приступили к сбору пожертвований в пользу отряда. В сборе пожертвований принимал участие почти весь «верхний слой» города во главе с генералом Алешем и супругой Амо Амбарцумовича — Ангиной Барсеговной; показался на несколько минут даже уездный начальник в сопровождении дочери Мазута Амо — Черноокой Примадонны. Вошли они в наиболее заметные лавки, как-то: Хаджи Онника Манукофа Эфенди, г. Абомарша, персидского подданного — и не остались недовольны: Хаджи Онник эфенди пожертвовал дорогим добровольцам мешок сахару; персидский подданный — ящик табаку и ящик спичек Лапшина. Г-н Абомарш пожертвовал добровольцам перчатки, содержатель аптеки — медикаменты, братья Баласянц, торговавшие мылом, — мыло и т. д. Давал всякий, что имел, или же, как говорят русские, — кто чем

богат. Но все же нужно отметить, что больше всех пожертвовал г. Абомарш, который, как он говаривал впоследствии, «обжегся», ибо он дал — мы не указали количества — двенадцать пар кожаных перчаток, а это стоило значительно дороже, чем мешок сахара Хаджи Онника Эфенди или же мыло братьев Баласянц. Но впоследствии г. Абомарш рассказывал довольно красочно, что он, собственно, пожертвовал не столько добровольцам, — «Ну их

к черту!», в конце концов, — сколько... Черноокой Примадонне.

— Так и скушал бы я ее сосцы! — говорил ему при этом разговоре цирюльник Васил. — Приди она в мою мастерскую, был бы я рожден ослицей, если бы не отдал ей мое стенное зеркало!

Вот до чего велико, до чего грандиозно было воодушевление, вызванное в городе «всенародным сбором». И жертвовали: кто деньгами, кто товаром. Колопотян дал стаканы, Бочка Николай — вина, — одним словом, не пожалели — давали, кто что имел. В сборе принял участие и отец Иусик, но он, в сопровождении своего дьячка, обходил лавочки ремесленников, окраины города. Впоследствии некоторые из обывателей усматривали какую-то связь между блестящей обувью отца Иусика и сбором того дня. Но, дорогой читатель, мне кажется, это — клевета, порожденная прозвищем, данным ему цирюльником Василом. По-моему, не стоит из-за таких ничтожных сплетен пятнадцать безупречную рясу патриотически настроенного отца Иусика.

...Было одиннадцать часов утра, когда долгожданный добровольческий отряд стройными рядами вступил наконец в город. Но до его вступления в город отправились на вокзал встречать отряд воодушевленные наиряне во главе с Мазутом Амо и т. Вародяном. Кого только не было на вокзале! Пришли все — начиная от генерала Алеша и кончая гробовщиком Еноком. Впрочем, гробовщик, как и Кривой Арут, волей-неволей должны были быть там, между тем Кинтоури Симон, г. Абомарш, Хаджи Манукоф Эфенди, цирюльник Васил и другие горожане бросили работу и отправились специально встречать добровольцев. Я уже не говорю о ремесленниках и всех записавшихся, явившихся посмотреть на отряд. Однако самой жестокосердной оказалась Лорис-Меликовская. Она, эта улица торгашей, на вокзале почти не имела представителей. Видимо, торгаши считали лишним прерывать работу, так как все равно отряд должен был пройти по их улице и они имели возможность встречать их, этих бесподобных героев, у своих же лавок. Зато на вокзале была представлена почти вся интеллигенция: учителя, наиряне-офицеры, студенты, многие из служащих. Было тут также значительное количество учащихся, в тот день принесших занятия в жертву делу отечества (занятия в школах, хотя и с некоторым запозданием, все же начались), но среди учащихся были и такие, которые подумывали жертвовать этой священной цели не только уроком, но и жизнью.

За пять минут до прибытия поезда уже стояли на платформе Амо Амбарцумович, т. Вародян, врач, Осеп Нариманов, генерал Алеш и Кинтоури Симон. Это была организованная группа, которая официально должна была встречать отряд. Там же, рядом с ними стоял наготове военный оркестр, коему

наказал уже Вародян исполнять наирский гимн «Мер Айреник» в момент прибытия поезда. Одним словом, все было обдумано и предусмотрено, чтобы встретить отряд радушно, насколько это возможно. За упомянутыми выше почтенными лицами стояли, образуя живую стену и вперив глаза в железнодорожную даль, наиряне и с нетерпением ожидали прибытия поезда. — Опоздал! — уже забеспокоившись, сказал генерал Алеш Мазуту Амо таким тоном, как будто сам был причиной запоздания.

Но как раз в этот момент послышался, как благовест, свисток паровоза — и все, вместо того чтоб успокоиться, зашевелились, стали толкать друг друга. По знаку, данному т. Вародяном, оркестр заиграл наирский гимн. Поезд медленно приближался к станции.

Трудно, дорогой читатель, описать моим слабым пером то невообразимое воодушевление, коим были охвачены наиряне в ту историческую, неповторимую минуту. 1:два успела показаться голова первого папахоносца, как станция взорвалась оглушительными возгласами. Когда же поезд стал и из вагона вышел начальник отряда — Известное Имя, — второпях, с обнаженной головой пошли ему навстречу Мазут Амо и т. Вародян. Известное Имя, обнявшись, поцеловался прежде всего с Мазутом Амо и затем... с т. Вародяном — понимаете? — с т. Вародяном, и это в то время, когда с глубоким благоговением на лицах мечтали пожать руку Известной Персоне врач, Осеп Нариманов, генерал Алеш — я уже не говорю о Клубной Обезьяне — сапожнике Симоне... Повторяю, когда начались эти оглушающие, ошеломляющие явления — громовые раскаты «ура» дошли до города. «Прибыли!» — сказал лавочник Колопотян покупателю, и даже на его лице засияла блаженная наирская улыбка. Затем вышел вперед отряд и по приказу, данному на наирском языке, выстроился перед вокзалом... И вот... Мазут Амо, все тот же незаменимый Мазут Амо, начал свое приветственное слово.

— Добро пожаловать, — так начал свое приветственное слово Мазут Амо. — Вам уготовано место на наших головах.

Затем он стал говорить о том огромном значении, которое будет иметь этот незабвенный день в жизни наирской; этот исторический день войдет в сонм великих национальных и церковных праздников, и Наири будет праздновать его, подобно дням Варданова сражения, рождества и воскресения. Будет праздновать свободная и независимая Наири там, по ту сторону границы, где наши исстрадавшиеся братья ждут ныне героев, несущих освобождение...

— Идите! — закончил свое слово почти со слезами на глазах Мазут Амо. — Наши дорогие братья все еще изнывают там в объятиях деспотии; наша родная земля все еще истекает кровью под тяжестью ига варваров; идите наши доблестные,

стойкие, железные воины; идите, и возблагодарит вас, как благодарим вас мы сегодня, я верю, грядущая свободная независимость, вольная Наири!..

Мазут Амо закончил свою речь под бурные звуки «ура» и, качаясь от волнения, подошел к начальнику отряда:

— Да будет позволено мне, дорогие соотечественники, — сказал Мазут Амо, обнимая начальника, — поцеловать этот лоб, который никогда не боялся пули врага, который с иронией встречал вражескую пулю и, я уверен в этом совершенно, еще долго-долго до дня освобождения будет противостоять натиску врага!..

Вновь загремел оркестр, шумный наирский гимн зазвучал свободно. На глазах многих из присутствовавших, даже гробовщика Енока и Кривого Арута, показались слезы умиления. Затем начальник отряда в двух-трех словах, как это подобает военному, поблагодарил дорогих соотечественников, которые, в лице присутствовавших, столь внимательно отнеслись к заветному делу.

— Но, — сказал в заключение начальник отряда, — если мы ответим делом, практической помощью заветному делу хоть на сотую долю этого внимания, тогда, как и у г. Амазаспа, у меня не останется никакого сомнения в том, что недалек день, когда освободится Наири!..

Так внушительно, так убедительно закончил ответную свою речь начальник отряда и затем, когда перестал играть оркестр наирский гимн и стихли овации, добавил, как бы вспомнив:

— Да будет остр непобедимый меч нашего государя, ибо только царской волей его освободится страна Наири!..

После этих слов оркестр заиграл «Боже, царя», все обнажили головы, а начальник отряда и т. Вародян, который в последнее время стал ходить в форме добровольца, подобно военным, поднесли руки к папахам.

— Да здравствует государь император!.. — воскликнул Мазут Амо, потрясая шляпой, как бы вспомнив, что не допустимому недоразумению забыл отметить это существенное обстоятельство в своем приветственном слове.

После гимна и оваций, когда закончился церемониал, начальник отряда, Мазут Амо и т. Вародян сели в первый экипаж, адъютант, генерал Алеш и врач — во второй, Осеп Нариманов и другие в остальные экипажи и поехали в город, сопровождаемые восхищенными взглядами счастливых наирян.

Спустя час, под предводительством второго помощника Известного Начальника, вступил в город добровольческий отряд, встреченный еще более шумными овациями горожан.

Три дня спустя население города, под руководством того же Мазута Амо и т. Вародяна, провожало на фронт добровольцев этого отряда. На сей раз

присутствовало

значительно больше народу, чем в день встречи, что объяснялось частью тем, что день был воскресный, частью же тем, что очень многие, в частности ремесленники и жители окрестных деревень, явились провожать — кто родного, кто друга, кто знакомого или же соседа, которые выступали на фронт с отрядом, будучи «записаны» рукою т. Вародяна. Были произнесены подобающие речи, оркестр играл приличествовавшие случаю наирский гимн и «Боже, царя»... Счастливого пути пожелали дорогим добровольцам не только Мазут Амо и т. Вародян, говорившие в качестве официальных лиц от имени известной всем организации, но также генерал Алеш, говоривший от имени населения. Затем добровольцы были водворены в вагоны — и вот под громовые «ура», звуки музыки, плач и воодушевление тронулся поезд. Зрелище было поистине трогательное и незабываемое, но тысячу раз поражали и трогали глаза Мазута Амо: в них были слезы и сквозь слезы — улыбка ожидания. Они, эти незабываемые глаза Мазута Амо, смотрели на удаляющийся поезд, но не замечали его, они видели ту сторону границы, где, как он сказал в своей приветственной речи, все еще изнывала в цепях рабства страна Наири, Там, в той темной дали, где исчез поезд, была обетованная земля — древняя Наири. И после исчезновения поезда все еще долго смотрели в ту сторону глаза Мазута Амо, выражавшие улыбку и печаль. Глаза эти сквозь туман грядущих дней видели уже там, где исчез поезд, новое возрожденное отечество, нагруженное «наирскими силами» или же, как сказал бы он впоследствии, если бы был жив — «единую и независимую, от моря до моря Наири».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ СТРАНА НАИРИ

Ужель это — страна Наири?

Е. Чаренц

Мы приблизились к самой существенной части нашего романа, и вот тут-то, дорогой читатель, и встает перед нами во весь свой рост поставленная выше задача — что же такое, наконец, страна Наири? Помнишь, читатель, в предисловии к этому роману я спрашивал с опаской, спрашивало сердце мое с сомнением — не мираж ли Наири, не бред ли она больного мозга, не сердечная ли болезнь?.. В самом деле, что же такое Наири? Почему на каждой странице романа город, мною описываемый, я называю наирским и людей, в нем живущих, — наиря-нами? Неужели мозговой бред может оформиться и стать реальностью? Неужели, дорогой читатель, могла бы воплотиться в плоть и кровь «сердечная болезнь» и шагать по городу, шагать не в мозгу или в сердце, а в реальном городе, скажем, хотя бы в виде генерала Алеша или гробовщика

Енока, или же, в лучшем случае, — Амо Амбар- цумовича — Мазута Амо?.. Конечно нет — скажет всякий рассудительный человек. Не были бредом ни город, ни люди, в нем жившие; и я категорически могу утверждать, что никто из них не считал себя «наирянином», и город, в котором он жил, — «наирским» городом. Значит, я выдумал эту легенду, чтоб одурачить людей пустыми рассказами? Значит, я высосал все из пальца, бумагомарака и праздный поэт, который со стороны цирюльника Василя удостоился бы прозвища «ветрогона», если б цирюльник прочитал эти мои страницы? Да именно о какой Наири идет речь? И прежде всего, откуда взялось это название и что оно означает? Дорогой читатель, не я выдумал это название и точно не знаю, что оно означает. Быть может, Наири — это мираж, почем знать? Может, это неснятой сыр — бог его ведает, или же тот овес, что видел в своем знаменитом сне длинноухий дядя. Не знаю. И какое же это имеет, в конце концов, значение? Наири есть Наири. Давайте только условимся, что оно означает название страны, как Соломон — имя человека, и... И вновь, дорогой читатель, мы напоролись на препятствие. «Где же находится она, эта Наири?» — можешь ты меня спросить, и я опять останусь с опущенным носом, то есть в недоумении. Останусь в недоумении не потому, что не знаю места эвчэй страны, а по той простой причине, что, по собранным мною достоверным историческим и географическим данным, страна эта очень мало похожа на существующие ныне другие страны, скажем, на Аргентину, Чили, Турцию, Россию или же хотя бы на Абиссинию и Албанию... Мало похожа она не своим географическим положением, системой управления и прочим и прочим, но... Вот в этом «но» и вся суть. Это «но» и позорит, обезоруживает меня и заставляет теряться в догадках. Дело в том, что эта страна, эта злополучная Наири, как говорят часто поэты о своих сверхземных объектах любви, «и есть и нет»! Она, конечно, существует, иначе как же могли жить в этой несуществующей стране такие почтенные люди, как тот же самый генерал Алеш, Осеп Нариманов, Кривой Арут, г. Марукэ, — да перечислишь ли всех? Люди, земное существование которых, как видите, ни в коем случае не может быть подвержено сомнению. И одновременно не существует, так как если бы она существовала, то не должна была бы называться Наири, — то есть носить название страны, которой вы не найдете ни на одной географической карте. Попробуйте-ка написать письмо и адресовать его так: «Страна Наири — генералу Алешу» — и посмотрите, куда попадет ваше письмо. Как вы думаете — в описанный нами город? Вы ошибаетесь. Значит, застрянет в пути? Представьте, что нет. Вот тут-то и кроется вся тайна, дорогой читатель. Так адресованное вами письмо придет, вы думаете, в Каре, Ереван, Диарбекир, Шапух, Гарагисар? Конечно нет!

Письмо это придет и попадет прямо в... мозг хорошо нам знакомого Амо Амбарцумовича Асатурова — Мазута Амо... Вот и все! Потому-то, перейдя к дальнейшему изложению романа, мы должны обратиться к литературному приему, столь облюбованному в прошлом и которого так избегают современные авторы. Подобно рентгеновским лучам, мы должны стараться проникнуть в мозги центральных фигур нашего романа, — и в первую очередь, конечно, в мозг Амо Амбарцумовича Асатурова — Мазута Амо. Именно, прежде всего — Мазута Амо, ибо он (мозг, а не Мазут Амо) в течение многих лет, будучи совершенным образцом всех таких мозгов, подобно известному легендарному быку, нес на своих мозговых рогах... страну Наири. Да, именно к нему, к мозгу Амо Амбарцумовича Асатурова — Мазута Амо должны мы обратиться, если хотим черпать столь желанную нам воду из подлинного источника, если мы хотим из настоящего источника пить живительную влагу нашего, употребляя его, Мазута Амо, терминологию, национального существования.

Этот гениальный мозг имел гениальнейшие свойства. Неужели гениальнейшим свойством нельзя считать прежде всего то удивительное обстоятельство, что он, этот мозг, этот странный мозг Мазута Амо целые годы, столетия, испокон веков носил на названных выше своих рогах целую страну, и притом такую мировую страну, каковою была Наири? Понимаете вы? В сверхземном мозгу его, этого управляющего «Светом» Амо Амбарцумовича, размещались точно так, как на различных частях нашей планеты, села и города; жили в этих селах и городах люди, жил прежде всего он сам, Мазут Амо, затем — генерал Алеш, врач, Осеп Нариманов, Ангина Барсеговна и тысячи тысяч других. Свободно разгуливая в этих мозговых городах, шли на работу, возвращались, ели, ходили в отхожее место, — одним словом, делали то, что связано с людской жизнью, чем жива эта жизнь. Им лишь казалось, что они, скажем, шагали по Лорис-Меликовской, — на самом же деле они только вызывали колебания эфира во всеобъемлющем мозгу Мазута Амо, — или же, выкарабкавшись из мозга Мазута Амо на Лорис-Меликовскую, влачили там жизнь теней, пригвожденные к позору веков. И не только они, но и тысячи тысяч других: г. Абомарш, мелочник Колопотян, Хаджи Онник Эфенди Манукоф, Клубная Обезьяна, Кривой Арут, — все, все, и прежде всего все горожане, столь обстоятельно описанные в настоящем романе, их быт, деловая суতোлка, обыденщина. Одним словом, все и вся в этом наирском городе было не чем иным, как тусклым отражением всеобъемлющего мозга Мазута Амо, игрою его мозга... Ведь из этого же именно гениальнейшего мозга Мазута Амо и вышел описанный нами город со всеми его чудо-чудесами, точно так же, как в древности из божественной головы греческого Зевса вышла Афина

Паллада — прелестная богиня мудрости. Да иначе как и откуда могли возникнуть и в своем каменном величии просуществовать века хотя бы — мост Вардана, крепость, церковь Апостолов? Точно так же жили и мы с тобой, читатель: годами бродили по улицам, ходили в цирюльню Василя и кофейню-столовую Телефона Сето, на вывеске которой значится: «Кофе, чай, столовая — Седрак Фалян», — словом, жили будто земной жизнью и не знали даже, что все это иллюзии, мозговой бред, что все это не покрывало какой-то жалкой мифической Майи, закрывающей наши глаза, а мозговой туман самого ординарного управляющего «Светом» Мазута Амо, что вся наша жизнь со всем своим «нутром» была не чем иным, как мозговым бредомсердечной болезнью... Да, дорогой читатель, город этот со всем своим «нутром» был галлюцинацией гениальнейшего мозга Мазута Амо, и мы годами жили в выползавшем из мозга Мазута Амо этом бреде-городе, жили в сумасбродстве, как у себя дома, и не понимали, не постигали, не сознавали этого. И ты, читатель, глубоко ошибешься, если допустишь, что в этом, моем, подобном поэме, романе я имел в виду описать реально существующий город, представить его земных обитателей, воспроизвести какие-то невиданные типы. Такого намерения у меня не было и не могло быть. Что же касается того, на первый взгляд как бы меня выдающего обстоятельства, что я с самого же начала не раз говорил об этом городе и его обитателях, как о явлениях весьма обыкновенных и существующих вне сомнения, что касается этого, дорогой читатель, то тут я вынужден чистосердечно признаться, что попросту я тебя обманывал, водил за нос, как водил и обманывал меня годами Мазут Амо, как обманывал он и тебя — все равно, жил ли ты в описанном нами городе или нет; обманывал он, туманом покрывал тебе глаза, а ты не знал. Да, читатель, город тот был бредом, порождением больного мозга, и казалось, что он существует, живет земной жизнью, покуда существовал, жил Мазут Амо, то есть пока он, Амо Амбарцумович Асатуров — Мазут Амо, окутывал дни и годы своим мозговым покрывалом. И после этого не решаю, о каких еще там «типах», «героях», чертях, дьяволах может быть речь!.. Ему и только ему, то есть не Мазуту Амо, а его гениальнейшему мозгу, был обязан наирский город своим земным существованием и без него, то есть не без Мазута Амо, а без его мозга, не мог бы просуществовать хоть секунду не только этот наирский город, но и вся страна Наири.

Не веришь, читатель? Осмотрись кругом: где описанный нами город, куда делись его обитатели? Куда делись гробовщик Енок и Телефон Сето?.. Где ж, где же, наконец, мост Вардана и церковь Апостолов?.. Нет их, они превратились в

дым, исчезли в тумане, улетучились. Почему? Потому что улетучился, исчез во тьме мозг Мазута Амо. Нет его больше, он превратился в туман и в воспоминание...

И впрямь гениальными возможностями обладал этот мозг. Достаточно, думаю, сказанного мною выше, чтоб составить надлежащее понятие о свойствах этого гениальнейшего мозга. Но я еще не отметил самого существенного и самого удивительного. Мы сказали, что на этом удивительном мозгу держалась страна Наири, как в древности мир на рогах мифического быка. Но на чем держался сам этот мозг? — вот главнейшее. Чем питался этот мозг, чем жил он сам? — вот вопрос. На этот вопрос мы вынуждены дать в высшей степени неожиданный, невероятный ответ. Он, этот невероятный мозг Мазута Амо, держался самим собой... Он был, существовал, работал неустанно и непрерывно, как сама природа, или же, лучше сказать, как настоящее. Отвергая в корне теорию Гельмгольца, своим живым примером он доказывал, что подобная самодвижущаяся машина не только возможна принципиально, но даже есть, существует и может работать, питая сама себя целые века, умереть и вновь вернуться к жизни из собственного пепла, подобно египетской птице Феникс. Вот таким в толпе был мозг Мазут Амо: самодвижущейся машиной, что, питая сама себя, выделяла в

несметном количестве — как бы это сказать... ну, национальную энергию, благодаря коей — и только благодаря ей — все еще держалась, не сравнивалась с землей, подобно Ассирии и Вавилону, древняя страна — тысячелетняя Наири. Думается нам, что этот самодвижущийся, подобно, мозг и имел в виду наш дорогой, во цвете лет умерший поэт, когда писал: Египетские пирамиды сотрутся в прах.

Ты же, страна моя, словно солнце, будешь сиять, возгораясь... Таково наше мнение, читатель, и, нам кажется, мы имеем основание так думать, ибо дословно тоже самое думал столь много нас тут занимавший Мазут Амо, которого мы оставили в конце второй части нашего романа стоящим на вокзале, устремив взор в наирскую даль, куда исчез поезд, нагруженный «наирскими силами». Теми же горькими, благородными, мрачными и умилительными чувствами было объято сердце Амо Амбарцумовича, когда он, мрачный и озабоченный, тронутый величием момента, возвращался в город не в сопровождении г. Вародяна, как следовало бы ожидать, а один, погруженный в собственный, то есть принадлежавший местной конторе «Свет», экипаж. Один, преисполненный забот и печали, Мазут Амо возвращался с вокзала в город, и за все время пути от вокзала до квартиры глаза его выражали такое же чувство печали и умиления, каким светились они, эти глаза Мазута Амо, как

помнит читатель из конца второй части моего романа, на вокзале. В глубине этих глаз все еще виднелись поезд, и его дали, и та сторона рубежа. Глаза Амо Амбарцумовича не замечали Лорис-Меликовской и низеньких лавочек этой торгашеской улицы. В ней, в глубине глаз Амо Амбарцумовича, была лишь она, желанная и взлелеянная — страна Наири. Ехал он по ухабам и рытвинам в экипаже конторы «Свет», погруженный в приятные думы. Раскачивалась, подобно заду Амо Амбарцумовича от тряски экипажа, в мозгу Амо Амбарцумовича страна Наири. Подобно заду Амо Амбарцумовича, искала точку опоры в его мозгу страна Наири. Искала, но не находила; раскачивалась, подобно земному шару на рогах мифического быка, беспокойно вибрировала она и искала выхода; возникая из мозга Амо Амбарцумовича, страна Наири стремилась проложить себе путь в земные дали, по ту сторону рубежа... Из тумана веков, из галлюцинации выступали в мозгу Мазута Лмо и города: Ван, Битлис, Муш, Эрзерум, Сивас, Диарбекир — шесть вилайетов. То была древняя, тысячелетняя Наири. Однако в этот заветный творческий час одно лишь обстоятельство пребывало неопределенным, лучше сказать, оставалось без внимания. Как будто было вне поля зрения мозга Амо Амбарцумовича, как будто по недоразумению не учитывалось одно в высшей степени существенное обстоятельство, — если только можно счесть за «обстоятельство» город, нами описанный, в котором жил сам Мазут Амо. Это походило на известную басню Муллы-Наср-Эддина, — если только допустимо такое сравнение: подобно Мулле-Наср-Эддину, Амо Амбарцумович забывал сосчитать себя самого или длинноухого дядю, на котором он сидел, то есть наирский город...² Понимаете вы, в этот критический час жизни и смерти всеобъемлющий мозг Амо Амбарцумовича как будто предал забвению самое существенное, что, как говорится, находилось под его, Амо Амбарцумовича, носом. Быть может, он и не забыл, но... факт оставался фактом, и этот факт заключался в том, что в мозгу Амо Амбарцумовича, где возникала и вырастала из пыли годов и стремилась к земному существованию, к мировым далям страна Наири — в этот критический час там отсутствовал не только город, где в первую очередь жил он сам, Мазут Амо, но и все то, что было по ту сторону рубежа. Все, что было «по ту сторону рубежа» какою-то злополучной рукой вытрапливалось из всеобъемлющего мозга Амо Амбарцумовича. И ничего — Амо Амбарцумовичу это было нипочем. Невзирая на крепость, несмотря на мост Вардана и церковь Апостолов, несмотря на эти древнейшие чудо-чудеса, всеобъемлющий мозг Амо Амбарцумовича упорно оставлял без внимания, считая несуществующей ту сторону рубежа». О, знал, понимал Мазут Амо, что не тут должна была воплотиться в плоть и кровь, оформиться, приобщиться к земному

существованию страна Наири!

Пусть не думают, однако, что Амо Амбарцумович полагал это по своей наивности. Нет, для подобных размышлений мозг Амо Амбарцумовича имел свои основания. Эти основания на языке дипломатов называются политическими причинами.

Как мы сказали, Амо Амбарцумович возвращался со станции домой. Войдя в кабинет, он увидел свою бесподобную дочку, Черноокую Примадонну. Черноокая Примадонна плакала, опершись локтями на письменный стол отца и охватив голову руками. Подошел, обнял ее Мазут Амо — в мозгу у него было все то же, наирское, а не личное. Черноокая Примадонна в ответ на ласки отца не сказала ни слова и мокрым от слез указательным пальцем показала на спальню матери. «Поди туда!» — сказал мокрый от слез указательный палец дочери Мазуту Амо. Сердце Амо Амбарцумовича почуяло неладное, и в мозгу у него закачалась беспокойно страна Наири. Амо Амбарцумович осторожно, как вор, подошел к спальне Ангины Барсеговны, нагнувшись, приставил глаз к замочной скважине и увидел в спальне коменданта города (длинного офицера), к которому прижалась нежно мать Черноокой Примадонны — незаменимая половина Амо Амбарцумовича.

«У кого нет рогов?» — подумал Амо Амбарцумович, вспоминая Арама Антоныча, самого уездного начальника и тысячу других. Не прошло и часа, как он предал это забвению: не было места у него в мозгу для личного, — в мозгу у него было лишь всемирное и наирское...

Нами выпускаются два небольших отрывка, совершенно не поддающиеся переводу. Один из них построен на игре слов: «рог» — еду и «рог» — поз, в первом случае употребляемом как вершина мозга Мазута Амо, во втором — как измена его жены, «наставившей ему рога» (прим. переводчика).

...Мазут Амо не унывал. Подверженный вибрациям Центромозгопаука, он покорно ждал завершения дней и крововозмещения. Он ждал окончания мировой войны и наступления дня, когда нации и народы засядут за стол мирных переговоров. Он знал, он был убежден, что тогда осуществится лелеемое, совершится неизбежное, полетит, покатится на лоно небытия Вечный Больной, и на его трупе, возникая из зловонно разлагающегося тела его, воссияет светлая и земная страна Наири. Так думал, в годом был убежден Амо Амбарцумович. Но прошли 1915, 1916 годы, наступил 1917 год, и — представьте себе — свершилось неожиданное, непредвиденное и внезапное.

Этим непредвиденным, этим внезапным для Амо Амбарцумовича — Мазута Амо, вызвавшим замешательство не только в его, Амо Амбарцумовича, мозгу, но и в Центромозге всего Товарищества, была февральская революция 1917

года.

Вот отсюда и должны мы перейти к изложению последних событий описанного нами города.

Началось с того, что однажды, совершенно неожиданно, показался на улице в военной форме, запыленный, небритый, уже достаточно нам известный по второй части, Каро Дараян. Так же, как в первый свой приезд в родной город, он покатиł прямо к г. Марукэ и остановился у него на квартире. И вот, через день после его приезда, этак часов в одиннадцать утра, Амо Амбарцумович внезапно запер контору «Свет», впопыхах вернулся домой не в экипаже — невиданное дело! — а пешком, и, запершись в своем кабинете, приказал прислуге говорить всем посетителям, кроме т. Вародяна и врача, что его нет дома. Остался Мазут Амо у себя в кабинете в тот день до вечера при спущенных шторах и. в полутьме. Он мол-; чал. У него болела голова. В мозгу было пусто, туманно... Казалось, оборвались дни и годы, сорвалось что-то в мозгу Амо Амбарцумовича и осталось одно лишь пустое пространство. Но это пространство время от времени начинало заполняться, и казалось, он спал, бодрствуя, и, бодрствуя, видел во сне:

Нагнулась над ним Агриппина Владиславовна и нежно-нежно ворковала, словно невинный голубь... Смотрел

он ей в глаза — в глазах Агриппины Владиславовны тоже был прозрачный туман, пустое пространство... Она казалась Мазуту Амо такой маленькой-маленькой; детскими красными устами целовала она холодные уста Амо Амбарцумовича. Смотрел Амо Амбарцумович, не моргая, в глаза Агриппины Владиславовны и вдруг заметил, что пустое пространство в глазах Агриппины Владиславовны начинает заполняться, оформляться: «Не узнаешь?» — спрашивало пустое пространство из глаз Агриппины Владиславовны. Амо Амбарцумович смотрел-смотрел и вскочил с места; он потер лоб как пробудившийся ото сна и осмотрелся кругом: нагнулась над ним его бесподобная дочь, Черноокая Примадонна.

«Что случилось?» — спросил Амо Амбарцумович, забеспокоившись.

Черноокая Примадонна опустила глаза вниз — затем, быстро-быстро, словно отвечая урок, затараторила. Со слов дочери, сыпавшихся градом, Амо Амбарцумович узнал лишь то, что ему следует немедленно отправиться на квартиру уездного начальника. Он вскочил на ноги, надел пальто, захватил трость и вышел. Было уже десять часов вечера, когда Амо Амбарцумович вступил в квартиру уездного начальника. Это было 2 марта 1917 года.

О чем говорили в тот вечер у уездного начальника — один бог ведает, но несколько дней спустя г. Марукэ рассказывал, что в тот вечер были у уездного

начальника кроме Амо Амбарцумовича также врач, Осеп Нариманов, генерал Алеш и инспектор училища — Арам Антоныч. Но мы, не располагая об этом достоверными данными, вопрос оставляем открытым и взамен вопроса оставляем пустое пространство: пусть заполняет чье угодно воображение чем .хочет это пустое пространство. Мы не хотим делать предположений. И в конце концов, какое значение имеет то, кто присутствовал при беседе уездного начальника с Амо Амбарцумовичем? Это несущественно, читатель, а важно следующее: куда отправились в тот вечер, выйдя из квартиры уездного начальника, Амо Амбарцумович и врач? Вот в чем вопрос! Вот вокруг этого и вертелись в городе несколько дней спустя различные любопытные разговоры; любопытные хотя бы по той про

стой причине, что эти разговоры были связаны с темным местом, маленькой комнатушкой в конце нижнего этажа пятиэтажного здания, оставившей, как известно читателю из первой части моего романа, на спине т. Вародяна... любопытные следы. Рассказывали, что эти слухи распространяет г. Марукэ. Утверждали даже, что к распространению этих рассказов причастен сам т. Вародян. Но это второе обстоятельство впоследствии было категорически опровергнуто, и вся тяжесть клеветы осталась на совести Каро Дараяна, — Каро Дараяна, который уже был трупом, заброшенным темной ночью бог весь куда!.. То была темная, таинственная история, читатель, так и оставшаяся нераскрытой и таинственной. Но об этом — после.

На следующее утро, 3 марта, когда еще не было и восьми часов, совершенно неожиданно для горожан, со стороны крепости двинулись в сторону города бесконечные вереницы войск с орудиями и пулеметами и запрудили улицы. Торговцы Лорис-Меликовской пришли в замешательство и один за другим стали закрывать лавочки. Дело в том, что они не имели сведений об этом неожиданном движении войск и, кроме того, не видели ни Мазута Амо, «вытаскивающего в подобных случаях воз из грязи», ни других почтенных наирян. Слышали и знали они, что случилось что-то «в недрах», но боялись об этом говорить, — то было не их дело. Третий день уже ходили какие-то слухи, но горожане, в частности лавочники Лорис-Меликовской, относились с сомнением к подобным шушуканьям. Третий день уже как не было газет. Не получались даже издающиеся на наирском языке «Мшак» и «Оризон» рассказывали, что уездный начальник поставил на вокзале людей, которые конфисковали все получаемые газеты (об этом рассказывал г. Марукэ). Поэтому горожане были в полном неведении, когда в то утро двинулись в сторону города вереницы войск, пулеметов и орудий. Как заметили мы выше, лавки, только что открывшиеся, стали закрываться: часть лавочников.

Первая — орган национал-либералов, вторая — партии «Даш-накцутюн», пошла домой, кое-кто стал перед своей закрытой лавкой, некоторые же направились в кофейню Телефона Сето за новостями. В числе отправившихся в кофейню Телефона Сето был англоман Хаджи Онник Эфенди Манукоф.

— Понимаете вы что-нибудь в этой кутерьме? — спросил не без иронии Хаджи Онник Эфенди, войдя в кофейню.

— Конечно, понимаем, — категорически ответил Телефон Сето. — Войскам приказано делать революции, — закончил Сето, и наступило молчание. Издалека, со стороны квартиры уездного начальника слышалось тысячеустое «ура»; оно походило на радостные и грозные крики войск, идущих в атаку, и производило на присутствующих мистическое впечатление. Водворилось молчание. Напрягая внимание, все стали прислушиваться, как люди, ожидающие пушечного выстрела.

— Говорят, будут бомбардировать дом уездного начальника, — выразил мысль присутствующих г. Абомарш, тоже находившийся в числе собравшихся в кофейне, но не встретил одобрения.

— Не болтай зря, скотина, раз ничего не понимаешь! — рассердился Хаджи Онник Эфенди и добавил минуту спустя, сухо и поучительно: — Смысл зурны этих подлецов мы узнаем позднее, дорогие мои! — и вышел, постукивая палкой сухо и поучительно.

Хотел Хаджи Манукоф Эфенди пойти домой, но его дорога шла мимо пятиэтажного здания. Только было повернул Хаджи к этому зданию, как попятился назад, и, ошеломленный, прислонился к стене. Напротив, перед пятиэтажным зданием Хаджи Онник Эфенди увидел уйму войска и множество народу. Сквозь лес штыков бросился в глаза Хаджи Онника Манукофа Эфенди балкон пяти-этажного здания, на котором стояло несколько русских солдат, г. Марукэ и «ветроглотатель» (так звал Хаджи Каро Дараяна). Среди них — о, ужас! — был сам полицмейстер... Голова полицмейстера была обнажена. Один из солдат срывал с его плеч погоны, или, как называли местные жители, «чины». Держа полицмейстера за ворот, «ветроглотатель» показывал стоявшим внизу солдатам на высохшее от страха лицо полицмейстера и говорил непозволительные слова. Немедленно повернул Хаджи Онник Эфенди и побежал в обратном направлении. На встречу ему шел так же объятый страхом и растерянностью т. Вародян: папаху его съехала в сторону, и он был без оружия.

— Куда, Хаджи? — спросил т. Вародян с заискивающим лицом, подходя к нему.

— Дальше, дальше от меня; иди своей дорогой, братец! — отстранил его в сторону Хаджи Онник Эфенди и продолжал бежать в прежнем направлении. Но

не успел он свернуть на боковую улицу, как опять был вынужден прижаться к стене: с боковой улицы нахлынули новые толпы солдат, шедшие к пятиэтажному зданию. Смешавшись с этими солдатами, шли также оборванцы и «башибузуки» (так называл Хаджи железнодорожных служащих и рабочих). Застыл от ужаса, остолбенел Хаджи, когда он увидел уездного начальника, окруженного солдатами и башибузуками. Шел этот высокопоставленный русский с обнаженной головой, без погон и с опущенными в землю глазами, словно арестант... Хаджи Онник Эфенди инстинктивно поднес руку к шапке, когда проходил мимо пего уездный начальник, но, к счастью, уездный начальник не посмотрел в его сторону, и Хаджи Онник Эфенди почувствовал внутри себя приятную теплоту от того, что уездный начальник не обернулся в его сторону. Однако эта минутная робость Хаджи вскоре сменилась безудержным гневом. Рассвирепел Хаджи, увидя, как с пением и криками шла за русскими солдатами и башибузуками голая детвора; многие из детей, раздобыв жестяные чайные коробки и солдатские котелки, барабанили по ним немилосердно и наполняли воздух невыносимым шумом и криками. От неудовольствия и гнева колени Хаджи Манукофа Эфенди стали дрожать, и он сбился бы с ног, если б не удержало его густое течение солдат, шедших тому навстречу. Течение свернуло в сторону пятиэтажного здания, и улица опустела. Свободно вздохнул Хаджи Манукоф Эфенди и сел на случайно проезжавший экипаж конторы «Свет». Немного времени спустя, Манукоф. Эфенди, весь в поту, точно только из бани, сходил с экипажа перед своим домом.

— Где твой ага? — спросил Хаджи возницу, расплачиваясь с ним.

— Сегодня его не было в конторе, не знаю, — ответил он и повернул лошадей.

Драгоценная половина Хаджи Онника Эфенди, Ну- нуфар-ханум встретила Хаджи с таинственной улыбкой на лице, — улыбкой, в которой были смешаны и удивление, и неожиданная радость, и глубокое благоговение. Хаджи, еле переводя дух, вручил ей свою палку и хотел уже войти в комнату, как Нунуфар-ханум загородила ему дорогу. Нунуфар-ханум, положив пальцы на уста Хаджи Онника Эфенди, прошептала с загадочной улыбкой: «Тссс, тише, милый, у нас сидят люди!»... — «Кто?» — сухо спросил Эфенди со страхом и испугом на лице и не выдержал: быстро потянул дверь к себе... и окаменел на месте. В гостиной сидели — можете вы себе представить? — Амо Амбарцумович, врач и — что больше всего поразило Хаджи — комендант города (длинный офицер)... «Ну, что, долго еще будет продолжаться это сумасбродство?» — спросил Хаджи, входя в комнату и поочередно оглядывая Амо Амбарцумовича, врача и коменданта города (длинного офицера). Но лица Амо Амбарцумовича, врача и коменданта города оставили без ответа вопрос Хаджи. «Что ж, пойдёмте,

пойдемте, выпьем по рюмочке», — добавил Хаджи, желая рассеять общее замешательство, и они отправились в столовую.

Молча обедал Мазут Амо, сидя рядом с Хаджи Он никем Эфенди во главе стола. Ел он холодную жидкую зеленоватую чорбу и смотрел на свою тарелку, но глаза его как будто не видели зеленоватой чорбы. Ему казалось, что в тарелке взамен чорбы — туман, мираж, пустое пространство. Понимал Амо Амбарцумович, чувствовал он, что то, что происходит на улице, происходит помимо его воли, вне его, совершается независимо от него. Он ожидал исхода происходящего и размышлял о том, чем оно кончится, но не находил ответа. В мозгу у него был туман, мираж — пустое пространство...

Уже закончили обед, когда, еле переводя дух, вошел т. Вародян. И вот невиданное дело случилось для Хаджи Манукофа Эфенди в его же квартире: Амо Амбарцумович, врач и т. Вародян попросили у Хаджи разрешения уединиться в соседней комнате. Хаджи, конечно, разрешил, хотя и не переставал удивляться, что у него же на квартире гости желают избавиться от него самого. «Однако ничего не поделаешь, Хаджи, раз попался — так уж терпи!» — подумал он и повел гостей в соседнюю комнату. Войдя в соседнюю комнату, Амо Амбарцумович, врач и Вародян заперлись в ней, а Хаджи, вернувшись в столовую, остался с комендантом города (длинным офицером) и стал беседовать с ним о новостях дня на смешанном с наирским русским языке. Беседовал Хаджи с комендантом города (длинным офицером), но внимание его было там, в соседней комнате. Понимал Хаджи, знал, что в эту минуту в соседней комнате заседал Местный Комитет, знал, но не понимал Хаджи, что с того момента ого, Хаджи Онника Манукофа Эфенди, квартира стала историческим местом; в тот момент в его, Хаджи Онника Манукофа Эфенди, квартире, в соседней комнате совершались роковые дела как для него самого, так и для него наирского племени. В тот момент Амо Амбарцумович, врач и т. Вародян, то есть Местный Комитет Центромозгопаука, иными словами, местная субстанция наирского мирового духа выясняла свою позицию к совершающимся событиям, и этого мирового порядка обстоятельства не постиг Хаджи; не понимал Хаджи всего значения итого мировой важности явления. К какому решению о совершающихся событиях пришли в соседней комнате Амо Амбарцумович, врач и т. Вародян, — Хаджи Онник Манукоф Эфенди, конечно, не знал и не мог узнать. Однако вскоре он должен был узнать, узнать также и то, сколь был благоприятен для него случай, приведший в тот день к нему дорогих гостей. И все это Хаджи должен был узнать всего через неделю, когда врач Сергей Каспарыч был уже окружным комиссаром, а Амо Амбарцумоииич — председателем городского Совета...

Странные, темные, непонятные события произошли в том наирском городе в течение этой недели, — события, покрытые непроницаемой завесой тайны и загадочности. И ряд ли кому-нибудь когда-либо удастся снять эту завесу и поглядеть на подлинное лицо совершившегося. Мы должны поэтому избежать всевозможных предположений и заключений; мы расскажем лишь то, что нам довелось видеть собственными глазами, либо узнать от людей, пользующихся в наших глазах неподкупной репутацией. Перейдем же к этим событиям.

Прежде всего надобно заметить, что в то самое время, как, собравшись на квартире Хаджи Онника Манукофа Эфенди, Местный Комитет выяснял свою позицию по поводу совершающихся событий, — в это самое время в городе уже были люди, не только уяснившие себе свою позицию, но и расклеивавшие на стенах города объявления об этой своей позиции на наирском и русском языках. И важнее всего было то, что под этими объявлениями, рядом с подписями большей частью неизвестных городу лиц, красовались две подписи, причинявшие большое неудовольствие не только простым обывателям, но и весьма почтенным персонам. То были подписи Каро Дараяна и г. Марукэ (Марукэ Драстаматяна), и они проступали на объявлениях в виде головок гвоздя, с самого начала склоняя почтенных наирян к мысли, что необходимо бить по этим головкам. Вытекающее из этих писаний в известной степени «импрессионистическое» желание углубилось еще более в сердца наирян спустя день, когда в городе стали распространяться вышеупомянутые слухи, связанные с темным местом. Рассказывали, что эти слухи распространяет г. Марукэ; как мы уже заметили, нашлись люди, полагавшие, что в распространении этих слухов замешан также и т. Вародян, тот самый т. Вародян, который, как вы знаете, с давних пор был членом Местного Комитета и личным другом Амо Амбарцумовича. Мы не знаем, был ли замешан в распространении тех слухов т. Вародян, но факт остается фактом, и факт этот заключался в том, что имя т. Вародяна было найдено в каком-то известном списке — собственно, не известном, а тайном, ставшем известным благодаря Каро Дараяну, этому «ветрогону»-наирянину. Ну, вот, извольте понять что-нибудь отсюда! Однако это еще не все. Дело в том, что, как говорили, список этот был неполный, из него было вырвано четыре листа, и вокруг этих четырех листов Каро Дараян на всех собраниях поднимал невероятную бучу. Наконец, вольно было Каро Дараяну орать сколько ему угодно, но почему же он связывал эти свои крики с именем Амо Амбарцумовича — Мазута Амо? Если бы вы послушали г. Марукэ, то выходило, будто исчезновение первых четырех листов этого известного, то есть тайного, списка было делом рук Амо Амбарцумовича и врача, Сергея Каспарыча. Но кто бы мог поверить г. Марукэ? О нет, мы не верим подобным

наговорам, хотя — мне доподлинно известно — даже т. Вародян по этому поводу в известных кругах сделал довольно-таки двусмысленные заявления. Но на минуту допустим, что заключения Марукэ имели основания, — возникает вопрос: почему же тогда Мазут Амо и врач Сергей Каспарыч (если только исчезновение четырех листов было делом их рук) в списке оставили пятый лист, на котором значилось имя их личного друга, члена Местного Комитета — т. Вародяна? Непонятное дело! И потом — чем должен был быть заинтересован т. Вародян, делая такие заявления? Неужели он мог быть заинтересован в дискредитировании своих личных друзей, вместе с ним заседавших в Местном Комитете? Конечно нет, — скажет всякий рассудительный человек, — не мог быть заинтересован в этом т. Вародян, как бы он ни был оскорблен обнаружением известного списка. Мы с уверенностью утверждаем это, тем более что неделю спустя Местный Комитет категорически объявил результатом недоразумения историю нахождения в известном, то есть тайном, списке имени т. Вародяна. Да, именно, неделю спустя Местный Комитет за своей почтенной подписью довел до всеобщего сведения, что в списке была найдена фамилия не Вародяна, а Барутяна и что этот Барутян ничего общего не имеет с более чем известным всем т. Вародяном. И спустя день после выхода в свет этого объявления, — лишнее доказательство того, что злонамеренные потуги г. Марукэ, рассчитанные на дискредитирование доброго имени т. Вародяна, оказались тщетными, — т. Вародян был назначен начальником милиции города и области, и первое, чем занялся в милиции т. Вародян, были розыски исчезнувшего трупа Каро Дараяна. Говорим — трупа, так как за два дня до вступления т. Вародяна в отправление своих обязанностей в городе неожиданно распространилась весть, что Каро Дараян (который незадолго до того был выбран комиссаром войск области) убит в четыре часа ночи неизвестными злоумышленниками. На берегу реки, на льду (река поздно вскрывалась в этом наирском городе) милиция набрела на ужасные следы крови... Но мы забежали вперед и не досказали всего того, что знаем о тех известных, то есть тайных, списках. То была таинственная и темная история, читатель, и мы не можем не привести тут всего, что мы слышали и что нам известно.

Как сказали мы выше, историю исчезновения четырех листов из известного (тайного) списка совершенно непостижимым для нас образом люди связывали с вопросом о том, куда пошли Амо Амбарцумович и врач, выйдя от уездного начальника ночью второго марта. Вот вопрос, который в продолжение целой недели служил предметом различных шушуканий для пустых (как выражался Хаджи Онник Эфенди) обывателей города и, в первую очередь, для г. Марукэ.

Но мы должны чистосердечно признаться, что до последнего момента не придавали никакого значения злокозненным шушуканьям г. Марукэ, и ты, читатель, не прочитал бы этих моих строк теперь, если б вскоре не рассеяло эту нашу глубокую уверенность одно, на наш взгляд, чрезвычайно веское обстоятельство. Дело в том, что Каро Дараян за несколько дней до своей трагической кончины в моем, автора, присутствии, на одном довольно-таки многолюдном собрании заявил, что он видел в тот вечер, вернее — второго марта, приблизительно часа в два ночи, Амо Амбарцумовича и врача, выходившими из пятиэтажного здания вместе с агентом темного места. Невольно напрашивается вопрос: что делали в этом почтенном месте в столь поздний час Амо Амбарцумович и Сергей Каспарыч?..

Помню, когда Каро Дараян задал этот вопрос Амо Амбарцумовичу, в зале, где происходило собрание, водворилось гробовое молчание, страшное изумление... Все, словно окаменев, ждали ответа Амо Амбарцумовича. Казалось, вот-вот, подобно израильскому Иегове или греческому Зевсу, воспламенится Амо Амбарцумович, этот, мы бы сказали, наирский Арамазд (Юпитер); подобно израильскому Иегове или греческому Зевсу, начнет он метать гром и молнии на голову этого ничтожного, жалкого создания, осмелившегося взять под сомнение революционную девственность Амо Амбарцумовича Асатурова, председателя Местного Комитета. Но, — представляете вы себе? — молния не засверкала, не поднялась буря и не разразилась гроза, а, выражаясь фигурально, стал моросить умиротворяющий дождь, небесная свежесть: из глаз наирского Юпитера потекли слезы горечи... Приклонив седую голову на стол президиума (в том собрании Амо Амбарцумович был членом президиума), горько-горько зарыдал Мазут Амо — и весь зал, где присутствовало значительное число солдат и несколько вокзальных башибузуков, где присутствовал также — о, позор! — г. Марукэ, да, весь зал, окаменев, с затаенным дыханием смотрел на вздрагивающую от рыданий седую голову Мазута Амо. «Факты! Факты!» — вскочив с места, придушенным голосом вопрошал сквозь рыдания Мазут Амо.

Но фактов не было; было лишь темное подозрение. Единственное, что походило на факт, был известный, то есть тайный, список, находившийся в руках Каро Дараяна, четыре листа из которого, как мы знаем уже, были вырваны какой-то неизвестной рукой. Но возможно ли, опираясь на эти несуществующие страницы, пригвоздить к позорному столбу, взять под сомнение революционную девственность такого почтенного наирянина, такого седовласого революционера? «Факты!» — вопрошал придушенным от слез страдальческим голосом Амо Амбарцумович, и только молчание и удивление

были ответом на жаждущие правды, душераздирающие вопли Амо Амбарцумовича... Таково было положение, читатель: фактов не было, было лишь темное подозрение. Излагаю так, как я видел и слышал, не делая никаких выводов: делай их ты, читатель! В этом темном, непонятном, непостижимом деле мы, подобно Пилату, умываем наши руки. Замечу лишь, что за неимением фактов Амо Амбарцумович был оправдан. Впоследствии он даже говорил, что будь жив Каро Дараян, он бы его привлек к ответственности, перед лицом революционного суда потребовал бы он у Дараяна удовлетворения за оскорбленную честь, но, к сожалению, Каро Дараян столь неожиданно погиб от рук неизвестных злоумышленников, что Амо Амбарцумович так и остался неудовлетворенным.

Да, темные, подозрительные, таинственные происшествия имели место в течение той недели в наирском городе, и из этих происшествий самое темное, самое подозрительное была смерть Каро Дараяна, его неожиданное убийство неизвестными злоумышленниками. И напрасно прилагал все усилия, выбивался из сил, разыскивал труп и убийц начальник милиции т. Вародян, — они не нашлись. Мало того, не только не нашлись они (то есть труп Каро Дараяна и убийцы Дараяна), но вскоре исчез, неизвестно куда делся из этого наирского города г. Марукэ. По предположениям т. Вародяна, исчезновение г. Марукэ должно было иметь известную связь с убийством Каро Дараяна. Но это предположение так и осталось предположением и не могло рассеяться, покуда не будет найден г. Марукэ. Но куда мог деться г. Марукэ, — об этом было известно лишь ему и учительнице приходской школы, хорошо нам известной из первой части моего романа, ориорд Сато, которая больше недели как организовала какие-то вечерние курсы в каком-то подозрительном месте поблизости от вокзала, где она занималась с вокзальными башибузуками, то есть с железнодорожными рабочими, регулярно по одному часу в день, по праздникам же — по два и даже по три часа. Об этом, конечно, никто ничего не знал. Не знал даже сам т. Вародян. И вот эта самая ориорд Сато отныне заняла место г. Марукэ по части распространения в городе всевозможных вздорных и подозрительных слухов. Однако между ориорд Сато и г. Марукэ была существенная разница: прежде всего ориорд Сато была женщиной, а г. Марукэ — мужчиной (самая существенная разница!); и затем — что, быть может, еще важнее (в этом вопросе наше мнение отличается от мнения Хаджи Онника Эфенди) — ориорд Сато была осторожнее и хитрее г. Марукэ. Факты нужны вам? А вот хоть бы тот факт, что никто не знал настоящего источника целого ряда темных и ответственных слухов, распространяемых ориорд Сато. Она так ловко маскировала их, что первоначальный источник (то есть сама ориорд Сато)

оставался, как говорится, в тени, невыясненным. В этом и крылась причина того, что, невзирая на прилагаемые т. Вародяном сверхчеловеческие усилия, ему, т. Вародяну, так и не удалось предотвратить повторение этих слухов. А кто же мог быть более заинтересован в этом деле, как не сам начальник милиции? Например, источник, распространявший небылицы, породил в городе такой слух, от которого даже волосы т. Вародяна, как говорится, стали дыбом. Источник этот о смерти Каро Дараяна утверждал, что начальник милиции напрасно столь энергично разыскивает убийц Дараяна... Г-н начальник милиции мог бы найти убийц Дараяна... не так далеко от себя, если только не в себе самом!.. Вот до чего были наглы слухи, порождаемые этим неиссякаемым источником лжи, и ему, этому источнику, очень дорого бы стоило подобное преступление, если бы он попал в руки революционной власти, то есть в руки т. Вародяна.

Мало того. Этот источник лжи распространял слухи, будто вновь утвердившаяся в городе революционная власть, то есть Местный Комитет в лице Амо Амбарцумовича, врача, т. Вародяна и других, освободила из-под ареста уездного начальника, полицмейстера и начальника темного места! Не тот ли самый источник пустил в оборот другую, не менее бессовестную клевету о том, будто комендант города (длинный офицер) скрывается на квартире самого Амо Амбарцумовича? Вот каковы были слухи, распространяемые после смерти Каро Дараяна и исчезновения г. Марукэ этим источником низких провокаций (так называл подобные деяния т. Вародян), и эти слухи до того нервировали и беспокоили революционную власть в городе (Местный Комитет), что она вынуждена была в конце концов обширным извещением официально опровергнуть распространяемые в городе провокационные слухи, целью коих — как было сказано в извещении — было расшатать основы только что утвердившейся народной власти и восстановить подлый режим царизма! Так было сказано в извещении. Далее в этом извещении все распространители подобных провокаций объявлялись врагами народа и низкими царскими наемниками, а в самом конце его было сказано, что действительно усилиями врагов революции и целого ряда царских наемников бежали из тюрьмы уездный начальник, полицмейстер, начальник темного места и комендант города, однако стараниями революционной власти (читай — Местного Комитета) и решительными мерами враги народа найдены и вновь водворены в тюрьму. И подлинно, названные выше лица вновь были арестованы и вновь заключены, но... «В какую тюрьму?» — ехидно спрашивала ориорд Сато. И сама же отвечала: «В военную тюрьму». Ну, что же из того, что в военную, какая разница? — мог бы спросить наивный собеседник, и если бы так говорил

наивный собеседник, ориорд Сато вновь открыла бы свой мешок лжи и быстро-быстро забросала бы своего собеседника замысловатыми и многозначительными фразами, прикрытыми словами, вроде — «как передают», «говорят» и пр. Невероятный был язык у этой стриженной «девы», чья девственность давно была взята под сомнение т. Вародяном. Знала она, с кем каким языком надлежало говорить. Как рассказывали в городе, ориорд Сато походила «на воду под соломой»: внешне невинная, внутри — сатана. Представьте себе, она в городе распространяла ложные слухи даже о вторичном аресте бывших представителей власти! Она говорила, будто названных выше лиц «вновь арестовала» не власть города (то есть Местный Комитет), а военная власть — извольте разобраться в этом!.. Одним словом, после убийства Каро Дараяна и исчезновения г. Марукэ ориорд Сато превратилась в настоящий кошель лжи, и мы жалеем, что в свое время она не попала в руки революционной власти, в руки т. Вародяна.

Но ложь — ложью, а русская пословица гласит: нет дыма без огня. Конечно, и эту русскую пословицу можно перевернуть, и дьявол ведает, что выйдет из нее; можно повернуть ее так, как угодно каждому — в зависимости от настроения и вкуса.

Например, исходя из этой пословицы, можно сказать, что «дым» — это были ложные слухи, распространяемые ориорд Сато, а «огонь» — сама ориорд Сато... Так и было на самом деле, ибо спустя два-три дня после вторичного ареста бывших властей такой дым распространил этот огонь, то есть ориорд Сато, что все горожане, в особенности же Амо Амбарцумович, врач и т. Вародян, вынуждены были заткнуть носы, чтобы не задохнуться от этого дыма, вернее — от этого походящего на дым зловония, распространяемого огнем. Дым же заключался в том, что ориорд Сато, бог ведает какими путями и средствами, раздобыла копию какого-то мифического письма и читала всем, кому доверяла, а эти в свою очередь распространяли среди тех, кому доверяли, и, в конце концов, выходило так, что никто не знал подлинного источника этих слухов: один узнавал у другого, передавал третьему — и так без конца. Мне тоже прочла копию этого мифического письма ориорд Сато, но я, к сожалению, в настоящее время помню содержание этого мифического письма лишь приблизительно. Любопытное это было письмо, читатель, но еще любопытнее были комментарии ориорд Сато. И любопытней всего (обстоятельство, до конца оставшееся для меня неразрешимой загадкой), — каким образом это письмо, будучи адресовано Мазуту Амо, попало в руки ориорд Сато? Ну, скажем, если не письмо, то его копия. Почем знать, может быть, ориорд Сато сама состряпала это мифическое письмо и с состряпанного ею письма сняла копию, чтоб смазать

маслом свое и без того отлично работающее колесо... то бишь язык?.. Мы излагаем лишь то, что слышали от нее, ориорд Сато, и оставляем читателю судить, насколько она была права.

Это мифическое письмо было написано из военной тюрьмы и адресовано Амо Амбарцумовичу Асатурову. Автором письма был (если, конечно, допустить, что письмо действительно было написано кем-нибудь, а не родилось в мозгу ориорд Сато) вторично арестованный уездный начальник. Тут можно добавить интересный комментарий ориорд Сато. По словам ориорд Сато, к этому письму вынудил уездного начальника вторичный арест, в коем, по мнению уездного начальника, был замешан Мазут Амо. В этом вопросе ориорд Сато разделяла мнение уездного начальника. А почему Мазут Амо был замешан во вторичном аресте уездного начальника — само собой ясно, говорила ориорд Сато, хотя для нас это не совсем ясно. Перейдем, однако же, к письму.

Помню, письмо начиналось словами: «Уважаемый Амо Амбарцумович!» — и, читая эти строки, не знаю почему, я сейчас же представил себе сухую, пожелтевшую, похожую на луковицу голову уездного начальника, его сухой, официальный взгляд вспыльчивого военного человека и жиденькую бородку. От этих простых корректных слов уездного начальника повеяло мне в лицо вихрем беспредельного негодования и смертельного гнева, и, вероятно, этот душевный хаос и был причиной того, что я уже не совсем хорошо помню первые слова письма. Помню лишь, что письмо начиналось атакующими фразами. С первых же слов было видно, что этот затравленный лев, этот грозный вояка, благородные бока которого, пользуясь случайным его падением, — как было сказано в письме, — лягали длинноухие дяди, твердо решил биться не на жизнь, а на смерть. Таким иносказательным предложением, кажется, и начиналось письмо уездного начальника: предложение точно не помню, но помню комментарий ориорд Сато о длинноухих дядях. По ее мнению, под этим иносказанием следовало разумеать зайцев. Между тем, мое мнение значительно отличается от мнения ориорд Сато. Почему именно зайцы, а не что-нибудь другое?.. Однако перейдем к письму. Повторяем, мы не запомнили в точности содержания этого мифического письма, но довольно отчетливо помним общий его смысл, который вынуждены тут передать нашим немощным языком, лишь местами приводя те рельефные строки, что пригвоздились в нашем мозгу и остались там и, думается, так и останутся там отпечатанными навсегда — во веки веков. Письмо, как мы сказали, начиналось дерзкими нападками, и, по мере изложения, оно то переходило в горький ропот, то вновь сыпало нападки и обвинения. Кончалось письмо выражением надежды, что всемогущий господь

восстановит правду в день страшного суда, в который автор письма верит так же, как верит в близкое торжество его императорского величества. Но существенное и любопытное в письме заключалось не в этом, а в том — каким языком говорилось там об Амо Амбарцумовиче, и в особенности о Сергее Каспарыче. Вот тут-то и скрывались самые соки этого письма, доставлявшие ориорд Сато неиссякаемое удовольствие, зажигавшие ее взор и смазывавшие, как говорили в городе, ее собачьи уста.

«Не вы ли, уважаемый Амо Амбарцумович, — говорилось в этом мифическом письме, — лизали мои блюда и подавали мне шубу даже тогда, когда приходили ко мне? Не ваша ли бесподобная дочка, Черноокая Примадонна, успокаивала мои нервы, утомленные от тяжелых трудов и старости?.. А скажите, пожалуйста, — говорилось далее в этом мифическом письме, — кто поставлял начальнику охранного отделения, Ангелееву, наирских красавиц, если не сегодняшний Областной Комиссар и вчерашний городской врач, Сергей Каспарыч?.. Кто послал за подписью Местного Комитета и его, Местного Комитета, печатью устрашающее письмо два года назад в нашем городе имевшему огромную практику врачу Карчевскому, чтобы тот немедленно покинул город и удалился на лоно сатаны? Чья была эта работа, если не его — вашего (то есть Мазута Амо. — Е. Ч.) бесподобного друга, ныне Областного Комиссара, бывшего городского врача, Сергея Каспарыча?.. Не он ли, — говорилось далее в этом удивительном письме, — этот член вашего Местного Комитета, ныне Областной Комиссар, врач, Сергей Каспарыч, так ловко приспособил доски клозета своей квартиры, что среди бела дня потопил в отхожем месте свою законную умалишенную жену, чтоб избавиться от нее, как от лишней обузы?.. Не вы ли, — обращаясь к нему, Амо Амбарцумовичу, говорил далее уездный начальник, — не вы ли, уважаемый Амо Амбарцумович, через моего подчиненного Шмерлинга из складов вашего «Света» целыми обозами переправляли нефть нашему и, в особенности, вашему вековому врагу — туркам и ценою крови, пролитой нашими и вашими братьями, набивали свои карманы золотом?.. Да, уважаемый Амо Амбарцумович, это было делом ваших рук — и напрасно вы ныне, заключив меня, старика, в тюрьму, предали забвению хлеб и соль, коими вы пользовались годами за моим обильным столом!..»

Вот до чего чудовищны были обвинения в этом мифическом письме, возводимые на Амо Амбарцумовича и врача, Сергея Каспарыча, и мы не сомневаемся, что это мифическое письмо есть результат испорченности мозга ориорд Сато. Да я уже более не сомневаюсь, что это мифическое письмо не могло бы исходить ни из какого другого источника, кроме испорченного мозга

ориорд Сато, который, будучи испорченным с самого начала, целыми годами подвергался влиянию более чем испорченного, — особачившегося мозга г. Марукэ.

Одним словом, читатель, то были темные и таинственные истории, оставшиеся для меня, автора, темными и таинственными до самого конца. Даже теперь, когда со времени описанных мною событий прошло столь много лет, когда утекло столь много воды, и из лиц и фигур, мною выведенных, очень многие перешли на лоно небытия — даже теперь, читатель, когда я мысленно оглядываюсь назад и стараюсь вспомнить и понять события и историю тех былых дней, — они представляются мне в виде мутного, темного, бурно мчащегося потока, сметающего с пути своего все препятствия и заторы.

Помню — однажды, когда я еще был ребенком, вздулась река описанного мною города. Стояла ночь, когда я с братом, выбежав из дому, отправился смотреть на поднявшуюся реку. Было темно. Казалось, мазутом помазали небо, и это мазут, стекавший с неба, залил город, улицы, дома и людей. Жили мы неподалеку от моста Вардана, под крепостью и, спускаясь к реке, мы думали, что доберемся до приречной улицы и оттуда будем смотреть на бушующую стихию. Но мы жестоко ошиблись. От нашего дома спускалась к этой улице извилистая тропа. Не успели мы свернуть на последний поворот этой каменистой тропы, откуда был спуск на приречную улицу, как мазутная гладь распалась на две части, едва отличавшиеся друг от друга, — выше темнее, ниже светлее. Нижняя, сравнительно светлая, была поднявшаяся река, которая залила приречную улицу и, тяжело и грозно распластавшись, фыркала, словно легендарный дракон. От вздувшейся реки несло давящей, заманивающей к себе сыростью, и я жался к брату, опасаясь, как бы не увлек, не задушил, не сожрал меня этот легендарный дракон. Напротив выступала, словно видение, черная каменная громада. То был мост Вардана, выделявшийся чернотой своей в подобном мазуту тумане. Меж людей, стоявших неподалеку от нас, шел спор о том, выдержит ли мост Вардана страшный напор клокотавшей реки: одни утверждали, что выдержит, другие — сомневались. В это время из недр потока раздался страшный, непередаваемый, душераздирающий крик, и в ту же самую минуту над потоком стремительно пронесся маленький, еле заметный огонек, похожий на мигающий глаз труса. Я сильно прижался к брату, обнял его ногу.

Стоявшие

рядом со мною люди подняли вой, пришли в замешательство и, неведомо почему, стали ругать друг друга. И опять из недр тяжело распластавшегося мазута раздался в последний раз душераздирающий крик, пронесся стремительно, словно в страхе мигающий глаз труса, огонь в сторону черного

призрака моста Вардана — и исчез бесследно.

Выяснилось, что то была лодка, сорванная потоком на одной из прибрежных улиц города и унесенная течением к мосту Вардана. Прижавшись к брату, я, весь дрожа, вернулся домой и лег рядом с матерью. Всю ночь напролет в моем детском мозгу тяжело мчала вздыбившаяся река и колыхался призрак моста Вардана. И, ударяясь об этот черный призрак, душераздирающие крики издавал пугливый огонек, похожий на в страхе мигающие глаза труса. Утром, проснувшись, я стремглав побежал к реке, но, к удивлению и радости моей, увидел, что с приречной улицы уже удалился легендарный дракон: река вступила в свои берега и протекала плавно, а царственно воссевший в середине реки мост Вардана сушил свои мокрые бока под светлыми лучами восходящего солнца... С детской наивностью я устремил взор на темную воду, омывающую бока моста Вардана, полагая, что там найду какой-нибудь след быстро пронесшейся ночью лодки и даже — о, детская наивность! — испуганно мигавшего, словно пугливый глаз труса, огонька... Но от всего этого не осталось и не могло остаться ни единого следа. Лишь мост Вардана один подставил царственную грудь темно-клокочущим водам.

.. С этого незначительного по существу события, случившегося во дни моего детства, прошло двадцать пять длинных лет, но я вдруг вспомнил о нем в связи с вышеизложенными событиями. Ведь не случайно же человек по поводу того или иного события вспоминает другое? Конечно, не случайно, читатель, — глубокий, глубочайший смысл заложен, выражаясь научным термином, в подобной ассоциации идей. В данном же случае этот глубочайший смысл для меня яснее, чем свет солнца. И в самом деле, неужели не походила на выступившую из своих берегов реку жизнь этого наирского города в те дни, — жизнь, над которой с давних пор висел похожий на мазут туман, обволакивавший, как известно тебе, читатель, наирский город и его обитателей? Взмылась жизнь, вышла она в те дни из своих обычных берегов, и напрасны были попытки Каро Дараяна, подобно пугливому огню сорвавшейся лодки, внести луч света в похожий на мазут туман. Каро Дараян должен был знать, он должен был понять, что его лодка ударится о каменную громаду царственно воссевшего моста Вардана, с давних пор привыкшего подставлять свою каменную грудь всяким течениям и потокам! Я выехал из наирского города после описанных мною событий и вернулся туда лишь год спустя — и что же? Впечатление было такое же, какое я получил во дни моего детства, когда пошел смотреть реку на следующее утро после наводнения. Как и тогда, я нашел реку обычной наирской жизни почти вступившей в свои берега — и с тем

же благоговением и трепетным удивлением я увидел Мазута Амо, подобно мосту Вардана после бури, воссевшего в середине уже значительно успокоившегося, почти вошедшего в свои берега течения жизни, и тщетно пытались редкие пенистые волны уже успокоившейся реки бить о каменные стены его общественного положения... К счастью, в то время я был уже не ребенок, чтобы в пене этих жалких волн искать следы какого-то кораблекрушения. Одна лишь ориорд Сато продолжала распространять по городу свои неиссякаемые провокации, но уже никто не обращал внимания на рассказы этой «стриженной девки». Мазут Амо был и продолжал стоять, как мост Вардана, грозный и величественный. Стоял он в центре этого города и в центре подлинной, почти воплотившейся Наири — так называемых «оккупированных районов» — как уполномоченный представитель Товарищества, председатель Местного Комитета и Городского Совета, член Высшего Военного Совета и пр., и пр., и пр. — ив его, Мазута Амо, мозгу было все то же наирское и вечное, — уже начинающая воплощаться страна Наири... Много воды утекло в течение года, пока я отсутствовал, но примечательней всего, что утекли из Наири и этого города также русские полки, предоставив Наири и город Мазуту Амо и наирянам. Казалось, осуществилось то, о чем мечтали. Казалось, воплотилась Наири, выкарабкавшаяся из мозга Мазута Амо. Товарищество мобилизовало и отправило в оккупированные районы бесчисленное множество наирских вояк; вышедший из мглы, из тумана веков, воспрянул, наконец, кряжистый дух наирский, заняв села и города и утвердившись в крепости. После нескончаемого ряда лет, целые века спустя, в она родившейся вновь церкви Апостолов отец Иусик Пройдоха совершал богоугодную обедню на древненаирском языке, а т. Вародян был уже комендантом крепости, на самой высокой башне которой развевался трехцветный флаг. Инспектор реального училища, Арам Антоныч, за ведал школами города и области, уже всецело ставшими наирскими. А генерал Алеш, Хаджи Онник Манукоф Эфенди, сапожник Симон — Клубная Обезьяна, лавочник Колопотян и много-много других почтенных наирян сделали членами Городского Совета. Один лишь гробовщик Енок остался на своем месте: вместе с Кривым Арутом он все еще по-прежнему торговал на вокзальном майдане чаем и колбасой и как будто не пенял на судьбу. Но мы забыли об Осепе Нариманове; мировой судья Осеп Нариманов совсем забросил свою мировую деятельность и вместе с врачом, Сергеем Каспарычем, сделался членом Высшего Воинского Присутствия; собственно, членом был лишь один он, Осеп Нариманов, а врач, Сергей Каспарыч, состоял председателем этого Высшего Присутствия; он пользовался огромным влиянием в городе и области,

и шли толки, будто своим влиянием он даже затмит славу Мазута Амо, — но мы, конечно, не придаем значения подобным пустым рассказам.

Таким образом, как видите, все переменялось и приняло совершенно наирскую окраску. Выступившая из тумана веков древняя, долгожданная, вечная Наири приняла свой реальный облик. И все шло гладко, даже, можно сказать, водворился бы полный мир и покой в этом наирском городе и области, не будь целого ряда низких, нечестивых наиропродавцев, нарушавших покой только что народившейся Наирореспублики. И почему знать, не избежала ли бы Наири страшных несчастий, разразившихся над ней впоследствии, не будь этих низких, нечестивых наиропродавцев? Они, эти жалкие изменники, эти бесчестные люди были против защиты «оккупированных районов»; эти низкие изменники болтали о каком-то мире, когда противник еще не был повержен, — когда он, собравши свои последние орды, общипанными полками готовился проникнуть в «оккупированные районы» и вновь предать огню и мечу столь большими усилиями наконец освобожденную страну Наири... Понимаете ли вы это? Птица, как говорил Хаджи Онник Эфенди, волшебная птица прилетела на своих крыльях и попала к нам в руки, а эти подлые господа требовали, чтобы мы собственными руками выпустили эту птицу — во имя чего? Да, иного названия нельзя было подыскать для этой наиропредательской глупости, нежели то, какое дал ей Местный Комитет, собственно — само Товарищество, — и имя это, как не раз повторяли мы вскользь, было национальная измена. И кто такие были они, кто были их руководители? Несколько грязных подлецов, — как говорил Амо Амбарцумович или голодранцев-санкюлотов, — как думал англосакс Хаджи Онник Эфенди и непонимающему переводил и растолковывал Хаджи Манукоф Эфенди, что санкюлотами зовут собак-бесштанников, как будто бывают собаки в штанах... И представляешь ли ты себе, читатель? — к этому времени уже выяснилось (по крайней мере так уверял меня г. Абомарш), что в нашем наирском городе этими санкюлотами, то есть бесштанниками-собаками, руководил — выражаясь словами того же Хаджи — «собачьей смертью погибший Каро Дараян», убийц которого столь энергично разыскивал т. Вародян, напрасно тратя так много самоотверженных усилий и драгоценного времени. «Собаке — собачья смерть!» — говорил по этому поводу Хаджи Онник Эфенди Манукоф, и он, пожалуй, имел на то право, так как должен же был найти, в конце концов, какой-нибудь выход самоотверженный патриотизм этого почтенного наирянина. Вот кто был, читатель, Каро Дараян, а мы еще жалели о его трагической кончине и безотчетно доверялись каждому его слову. А друзья-то его, кто такие были они в этом наирском городе? Первый — после загадочного убийства Каро Дараяна исчезнувший из города г. Марукэ, этот

«кретин», прозванный так т. Вародьяном, затем — хорошо известная нам стриженная «дева» в кавычках, ориорд Сато, и еще несколько подобных тварей, собиравшихся в привокзальных кварталах, сбивавших с пути истины вокзальных башибузуков, то есть железнодорожных рабочих и служащих и бежавших с фронта дезертиров.

Вот, читатель, каковы были нарушители покоя города и нарождающейся Наирореспублики. Это они, низкие наиропредатели, просовывая всюду свои грязные или же, выражаясь словами отца Иусика Пройдохи, «сопливые» носы, мутили воду, чтоб ловить рыбу. И это совершалось в то время (повторяем, читатель, дабы ты хорошенько понял и в должной мере мог представить себе всю позорность положения), когда, вступив в оккупированные районы, то есть уже сделавшуюся реальностью наирскую страну, известный наирский герой, ныне знаменитый вояка, объявил Наири самостоятельной, в то время, когда, выбиваясь из сил, наирская власть в лице Местного Комитета посылала наирских бойцов в оккупированные районы для защиты страны Наири, когда, с другой стороны, наирская власть располагала достоверными данными, что, собравши последние орды, общипанными полками намеревается вторгнуться в оккупированные районы Вечный Больной. Вот в то именно время низкие предатели, наиропродавцы, агитировали за дезертирство в рядах наирской армии и поговаривали насчет мира — с кем? С Вековым Врагом и Вечным Больным, которого пинком ноги поверг бы в прах один наирский боец, как говорил Мазут Амо; и враг, конечно, был бы повергнут в прах и испустил бы дух, не будь этих низких наиропредателей!.. Поздно, слишком поздно, опомнились (и еще вопрос — опомнились ли бы остальные, если б не Мазут Амо), очень поздно прибегли наирские руководители к надлежащим строжайшим мерам против названных подлецов. Но что же могли они сделать, когда противник был почти у стен города, когда спустя два дня, как узнаем мы впоследствии, с головокружительной быстротой пал город, и Вековой Враг наступил ногой на его пылающие руины...

Мы переходим к описанию последних событий нашего наирского города, и сердце начинает грызть какая-то острая, неумолимая, жестокая боль. Рука моя вновь начинает дрожать, и буквы у меня выходят вкривь и вкось, словно строки мои раскачивает дуновение невиданного ветра... Читатель, события, к описанию коих мы приступаем, черны, мрачны, кровавы, и мы не знаем, сумеет ли наше слабое перо воспроизвести эти события столь же грозно и душераздирающе, сколь грозны и душераздирающи были они в действительности. В этом, читатель, мы больше чем сомневаемся, ибо навряд ли под нашим древним солнцем найдется перо, могущее воспроизвести эти

последние события так, чтобы дыбом встали волосы читателя, чтоб сердце его испепелилось от стога и боли и потекли бы из глаз его жгучие слезы. Мы не верим, что это нам удастся, читатель, и от гнева и боли хотим бросить перо, не писать, не доканчивать этот роман, подобный поэме, и без того сильно растянувшийся; но вот — из загадочного тайника моего, автора, мозга, выползая, разливаются перед моим духовным окном черные, мрачные, кровавые события и образы, — и я вновь берусь за перо, чтоб продолжать прерванный рассказ.

И на этот раз тоже история началась с него — с Амо Амбарцумовича — Мазута Амо. И как же могла она начаться не с него, то есть Амо Амбарцумовича — Мазута Амо, когда, как известно, уже не только наирский город, но и вся Наири вращалась вокруг него... Да, на этот раз тоже началось с него. В городе вдруг стали распространяться слухи, что Амо Амбарцумович Асатуров — Мазут Амо выезжает в оккупированные районы как чрезвычайный уполномоченный, в целях организации обороны на местах. Параллельно с этим в городе стали циркулировать слухи, что враг уже двинулся и идет на город, — движется, как поток, сметая все, что встречает на пути. Вот какие слухи стали ходить в то утро по городу и вместе с этими слухами, параллельно с ними, стали ходить по городу уже не слухи, а живые люди; ходившие по городу не слухи, а живые люди эти врывались в дома и вытаскивали из домов — не вещи, а способных носить оружие и отправляли их на станцию, на фронт. И все это совершалось не попросту, по дуновению ветра, а на основании расклеенных на стенах — на сей раз на наирском языке — и не объявлений, а приказов, под которыми — о, чудо-чудеса! — значилась не подпись т. Вародяна или Местного Комитета, или военных властей, или же, наконец, самого Амо Амбарцумовича, — а под этими напечатанными на наирском языке приказами значилось — представляете ли вы себе? — не имя, не фамилия и не название учреждения, а лишь три буквы — РПД (Революционная Партия Дашнакцутюн)!.. Впечатление от этих трех букв было сильнее и страшнее, чем от тысячи имен Мазутов Амо или же различных властей... Смертной дрожью отдавало от этих трех букв! Подписанное тремя страшными буквами, это объявление, виноват, приказ начинался коротким и внушительным обращением: «Наиряне». Да, действительно, коротко и внушительно было обращение, подобно тому, как коротка и внушительна была подпись, значившаяся под этим обращением, то есть приказом, но для понимающего в этом одном слове таился целый мир! И это понимали не только избранные, единичные личности, а поголовно все без исключения. Мало того, не только понимали, но и входили в него в это одно слово — все! Вот что поразительней всего. Да, именно, в это одно-единственное

слово входили и сам Амо Амбарцумович — Мазут Амо, и т. Вародян, и врач Сергей Каспарыч, и Осеп Нариманов, и Хаджи Онник Манукоф Эфенди, и лавочник Колопотян, и гробовщик Енок вместе с Кривым Арутом и даже вокзальные башибузуки и дезертиры. Такою вот универсальной емкостью обладало это обращение, это единственное слово, коим начинался приказ. «Наиряне! — было сказано в этом приказе: — Так было сказано на английском языке, как полагали уstraшенные горожане, и, казалось, это служило одной из причин, кроме указанного выше одного слова — обращения, что приказ произвел на наирян ошеломляющее, почти мистическое впечатление. «Враг приближается к нашим воротам,— говорилось далее в этом приказе,— и каждый наирянин должен дать себе ясный отчет, что это значит... Наиряне! — повторялось универсальное обращение: — Наша прекрасная страна, веками лелеемое и, наконец, ценою крови наших сынов отвоеванное отечество наше, наша, подобная раю, Наири стоит перед неслыханной опасностью. Приближается враг и вновь хочет предать ее огню и мечу. Наиряне! — обращался третий раз приказ ко всем, всем: — Каждому истинному наирянину сегодня остается делать одно: взять оружие и выступить на фронт для защиты нашей бесподобной родины. Начиная от грудного ребенка до девяностолетнего старика,— все должны выступить сегодня на фронт и, подставив свою грудь, штыку противника, своей священной кровью спасти от гибели и разорения заветную родину — нашу, подобную раю, Наири. — Наконец, наиряне!—в четвертый и последний раз обращался приказ к вселенной и всем: — Настала решительная минута, и РПД обращается к единственному призывом к своему дорогому на- ирскому народу: На поле битвы!.. Исстрадавшийся наирский народ, возмись за оружие! В последний раз призывает тебя Наири. И пусть исчезнут с нашего пути трусы и шкурники. К позорному столбу всех тех, кто в этот роковой час свои личные интересы предпочтет славной идее наиролюбия. РПД сим объявляет, что на месте будут расстреливаться те, кто для спасения своей жалкой шкуры попытается отказаться от отправки на фронт или же бежать с фронта. Этого требует от нас родина, этого требует от нас сегодня наша обетованная Наири. Итак, наиряне, к оружию!..» Так заканчивается приказ, и затем следовали упомянутые выше буквы — РПД.

Нечего и говорить о том, что это объявление, виноват— приказ произвел на всех горожан неслыханное, ошеломляющее впечатление. В городе поднялась такая суматоха, что, как сказал бы гробовщик Енок, «мать забывала дитё». Казалось, произошло землетрясение, настал день страшного суда! Если же хотите знать правду— этот день и нужно считать началом гибели страны Наири

и описанного нами города, — и это не вследствие названного приказа, а по причине того, для нас совершенно понятного, для остальных же горожан так и оставшегося непонятным обстоятельства, что Мазут Амо хотя и временно, но покинул свой родной город. А что же мог сделать этот город без Мазута Амо, то есть без той оси, вокруг которой вертелся город?

Поясним нашу мысль примером. «В чем суть коляски?» — спрашивает однажды гробовщик Енок у Кривого Арута. Но так как Кривой Арут не находит ответа, то на

заданный вопрос отвечает сам гробовщик Енок: «Суть коляски — в оси», — и поясняет: «Не будь оси — коляска не поедет». И мы вполне согласны с гробовщиком Еноком. Так и теперь. Представь, читатель, что, как этот наирский город, так и вся Наири, выражаясь словами гробовщика Енока, были гигантскою «коляскою», а сам Амо Амбарцумович — Мазут Амо — ее «осью». Куда бы годилась эта «коляска», то есть наш наирский город, или же вся Наири, без «оси», — без Амо Амбарцумовича — Мазута Амо? Ответ один — никуда! Она останется на месте, разрушится, сгниет, расплзется на части, точно разлагающийся труп. Останется лишь смерть, туман забвения — пустое пространство.

Точь-в-точь так и случилось в наирском городе и во всей Наири, как только Мазут Амо покинул город и выехал в оккупированные районы организовывать оборону на местах...

Отсутствие Мазута Амо было огромной, несказанно большой ошибкой. Когда он вернулся из оккупированных районов, было уже поздно — уже разложилось тело города, и ни одна душа не могла бы вдохнуть в него живительный дух и вновь вызвать его к жизни. Более того, — вернувшись из оккупированных районов, Мазут Амо не только не смог вдохнуть живительный дух в разрушающиеся, охладевшие жилы города, но вскоре и сам вынужден был испустить свой собственный дух, — испустить навсегда и безвозвратно... И вместе с ним испустила свой дух долгожданная и вечная, из гениальнейшего мозга Мазута Амо к земному, к бытию стремящаяся и почти уже осуществившаяся страна Наири... Уверенно, да, с полным убеждением мы утверждаем, что события не развернулись бы с такой головокружительной быстротой, если б не отъезд Мазута Амо; это была вторая, но более существенная, нежели первая, ошибка, допущенная в это время Мазутом Амо и отчасти всем Товариществом. Первая ошибка, которая уже нам несколько известна, заключалась в том, что своевременно не были приняты строжайшие меры против вышеназванных низких наиропродавцев; вторая же, как сказали мы, самая существенная ошибка, — был отъезд из города Мазута Амо. Он уехал

—и вслед за ним в этом городе стали сменять друг друга с головокружительной быстротой неожиданные, ужасные, трагические события...

В день отъезда Мазута Амо из города, как мы уже знаем, в городе появилось вышеупомянутое страшное, производящее почти мистическое впечатление объявление, то есть приказ. И вместе с ним, как мы уже знаем, стали ходить по городу — не слухи, а живые люди, которые входили в дома и вытаскивали из домов — не вещи, а способных носить оружие. Кроме того, по распоряжению т. Вародяна, на вокзале были поставлены чрезвычайные папахоносцы, строжайше запрещающие гражданам покидать город. Мы ошиблись — вначале еще позволялось уезжать из города, но лишь женщинам и детям; и вот начался отъезд из города женщин и детей. И удивительней всего то, что в те дни в этом наирском городе произошел целый ряд превращений; в городе поговаривали, что, по наитию свыше, приняли облик женщин многие почтенные наиряне, как например, г. Абомарш, сапожник Симон — Клубная Обезьяна, молодой сын лавочника Колопотяна и несколько других горожан. Но уверяю, читатель, тут никакого чуда не было: попросту накрыли на вокзале их, переодетых в женские платья, чрезвычайные папахоносцы—вот и все. Неизвестно каким чудом, но эти почтенные наиряне избавились от расстрела. Мало того: вскоре выяснилось, что все они порхают, как беззаботные птички, под прекрасным небом прекрасного города, хотя и находящегося вне Наири, но почти наирского, и даже удивлялись они, что другие наиряне не следуют их прекрасному примеру... Но как же могли они следовать, когда со стен города день изо дня сыпались на головы ошеломленных горожан один страшнее другого, один неумолимее другого, сеющие ужас приказы, так что в конце концов бедные обыватели страшились поднимать носы и не поднимали, чтоб этими своими внушительными наирскими носами не наткнуться на какой-нибудь ужасающий приказ. Как, каким образом могли следовать примеру г. Абомарша и других уstraшенные наиряне, когда вскоре новым строжайшим приказом т. Вародяна был запрещен выезд из города даже женщинам и детям, чтоб — как было сказано в приказе т. Вародяна — «не создавать паники». «Враг разбит,— говорилось далее в этом приказе, — и все могут спокойно сидеть на своих местах!» Можно ли было после таких приказов т. Вародяна следовать прекрасному примеру г. Абомарша и его друзей?.. Но дело в том, что, невзирая на строжайшие приказы т. Вародяна и других, невзирая на стоявших на вокзале чрезвычайных папахоносцев, в руках которых фактически был ключ города в те роковые дни, — несмотря на все это, население города день ото дня убавлялось и убавлялось, и прежде всего, редело население нижних, то есть центральных частей города. Как, каким образом каким чудом? Не знаем, но уже

давно ел свою ежедневную чорбу Хаджи Онник Манукоф Эфенди без своей Нунуфарханум и ставшего восемнадцатилетним своего «малыша»; уже давно то же горькое одиночество постигло инспектора реального училища, Арама Антоныча, ныне ставшего заведующим всеми наирскими школами города и области. Та же горькая участь одиночества постигла с давних пор и Осепа Нариманова, и генерала Алеша, и отца Иусика Пройдоху, всех, всех почтенных наирян — жителей Александровской и Лорис-Меликовской улиц. Впрочем, конечно, были и исключения, и в числе этих исключений были Телефон Сето, гробовщик Енок, Кривой Арут, известный ресторатор Бочка Николай и много, много подобных, хотя и держащих на Александровской и Лорис-Меликовской лавочки, но, в сущности, маленьких людей. Все они еще наслаждались под своим кровом всеми прелестями семейной жизни. Что же касается жителей окраин и районов, ближайших к церкви Апостолов, то они спокойно сидели на своих местах и, следуя приказам т. Вародяна, не двигались с места, дабы не вызвать паники. Но много ли значили жители окраин, эти «дикие твари», как называл их цирюльник Васил, кстати сказать, давно ликвидировавший свою знаменитую цирюльню и отправившийся на фронт, где, по назначению т. Вародяна, он снабжал наирскую армию продовольствием. Мы затрудняемся объяснить мотивы этого странного поступка цирюльника Басила, — Впрочем, о них знал лучше, чем кто бы то ни было, Хаджи Манукоф Эфенди, который также был «снабжающим», но не мелким, как цирюльник Васил, а крупным, весьма и весьма крупным. Да, поредело население города, однако это нужно понимать не в количественном, а в качественном смысле. Так, хотя и выбыли из города семьи наиболее почетных горожан, но взамен их из окружающих деревень нахлынули тысячи новых семейств, заполнивших улицы телегами, волами, коровами, детьми и прочими домашними животными; кроме лишь мужчин, давно переброшенных на фронт чрезвычайными папахоносцами т. Вародяна. Вместе с качественным изменением города изменилась и его внешность. Обстоятельство это причиняло т. Вародяну огромное беспокойство, и, невзирая на ряд его более чем строжайших приказов, так и не удалось водворить на прежние места стекавшихся из различных частей области «трусливых баранов»; они не соглашались вернуться, несмотря даже на то, что чрезвычайные папахоносцы не раз пытались заменить сладкозвучный наирский язык приказов т. Вародяна языком кнута. Но ничто не помогало. Они оставались в этом замечательном наирском городе, валяясь, словно бессловесные животные, на далеко не столь замечательных улицах и наполняли эти не столь замечательные улицы своим чудовищным зловонием. Там же на не столь замечательных улицах этого замечательного наирского

города они ели, спали и совершали все свои естественные отправления. Но особенно нервировало т. Вародяна то обстоятельство, что валявшиеся на улицах, на дворах, в садах человеческие зловонные скопища стали настоящим гнездом для дезертиров: бойцы удирали с фронта и прятались среди них, меж их телегами, под их одеялами и даже под юбками своих жен и матерей. И чрезвычайные папахоносцы т. Вародяна, кое-как побеждая свою стыдливость, очень часто вынуждены бывали искать дезертиров... под юбками стекавшихся из области женщин. Но и с этим можно было примириться и это можно было как-нибудь преодолеть—главнейшим же несчастьем для города было то, что в один прекрасный день т. Вародян и Сергей Каспарыч заметили, что в городе закрылись почти все лавки. Тов. Вародян и Сергей Каспарыч, замещавший Мазута Амо после его отъезда в Местном Комитете и Городском Совете, в спешном порядке выпустили приказ об открытии лавок. Но, увы, лавки не открылись, а население требовало продовольствия—чая, мыла, керосина, спичек, черта, дьявола!

Видя, что положение стало катастрофическим, кто-то из жителей окраин поднял в Городском Совете вопрос О принудительном изъятии товаров из некоторых лавок с тем, чтоб сам Городской Совет начал продавать товары. Как и следовало ожидать, предложение было принято единогласно. Но беда заключалась в том, что когда взломали лавки, то оказалось... собственно говоря, ничего не оказалось в них: лавки были пусты, как левый глаз Кривого Арута... Вопрос — куда девался товар из этих лавок? Ответ: неизвестно — больше ничего! И к тому же — не только не оказалось товаров, но не оказалось и их хозяев: чудом улетучились они из этого наирского города, несмотря на чрезвычайных папахоносцев, стоявших на вокзале! Может быть, они отправились на фронт,—спросит читатель. Но, по имеющимся у нас достоверным сведениям, их там не было. Однако же и с этим можно было бы как-нибудь мириться, не будь главнейшего зла — дезертирства, расстраивавшего город и фронт, о чем вскользь упоминали мы не раз. Каждое утро из домов и людских толп, валявшихся на улицах, из-под телег и даже из-под юбок женщин вытаскивались тысячи мужчин и отправлялись на фронт сотни отрядов из дезертиров, но с наступлением темноты они вновь толпами возвращались в город, чтоб на следующее утро усилиями папахоносцев т. Вародяна опять быть погнанными на фронт. И так изо дня в день... То было зло, неслыханное зло, наирский позор. К каким только мерам ни прибегали для предотвращения этого неслыханного зла председатель Высшего Воинского Присутствия врач, Сергей Каспарыч, и комендант крепости т. Вародян! По их приказу эти подлые наиропредатели подвергались побоям, публичному

посрамлению и тысячам другим внушений, но тщетно — ничего не помогало, положение оставалось тем же: все бежали с фронта, как испуганные бараны. Ясно, что так не могло больше продолжаться, надлежало прибегнуть к чрезвычайным мерам, однако, перед тем как прибегнуть к чрезвычайным мерам, надлежало найти корень зла. И корень зла был найден. Нашел этот корень зла, — собственно, не только нашел, а указал перстом на него — все он же — сам гениальнейший Мазут Амо, пославший с фронта письмо соответствующего содержания. Да, опять-таки он, гениальнейший Мазут Амо мог указать перстом на подлинный корень зла. Мы говорим — мог указать перстом, ибо, в конце концов, не так уж трудно было найти корень, когда он, этот корень, не был зарыт в земле, как всякий корень, а торчал, как наирский нос, наружу, и с давних пор все видели этот злополучный нос, то есть корень. Но одно дело видеть, другое — указать виденное перстом. Злополучный корень видели все, но, повторяем, лишь Мазут Амо своевременно указал перстом на корень и предложил вырвать его с основанием и выбросить, как заражающий гнойник. Ведь, в сущности, такова судьба всякой гениальной находки, всякого изобретения — возьмите хотя бы великого английского физика Ньютона: кому, кому только не приходилось видеть падение яблока! Однако мы отвлеклись. «Корень дезертирства нужно искать среди тех подлых наиропредателей, вожаком которых в нашем городе был убитый неизвестными злоумышленниками (скорее, благодетелями, — в скобках добавил Мазут Амо) Каро Дараян, — так писал Мазут Амо в письме-инструкции, посланной им с фронта. — Ими кишит фронт, и они агитируют среди наших доблестных войск, обещая им землю, мир и покой, и подобными наглыми средствами расшатывают ряды нашей армии, — писал Мазут Амо в этом своем письме-инструкции. — В отношении их нужно применить строжайшие меры, не останавливаясь даже перед расстрелом!» — предписывал в конце Мазут Амо, и последние строки этого предписания были трижды подчеркнуты. Эти подчеркнутые слова Мазута Амо мы и называем «указанием перста». И в самом деле, по получении этого письма-предписания как бы очнулись все, и казалось удивительным, что никто до сих пор не мог понять такой простой, как дневной свет, вещи. Так или иначе, корень зла был уже найден, и вот чрезвычайные папахоносцы т. Вародяна приступили к чрезвычайным подготовительным работам по изъятию этого корня.

Помню, в один прекрасный день на городском майдане чрезвычайные папахоносцы т. Вародяна поставили два телеграфных столба на расстоянии такого же столба друг нет друга и поперек них прибили третий.

— Что это такое? — спросил одного из папахоносцев кто-то из мальчиков с

глубоким любопытством и благоговением следивший за чрезвычайными движениями

чрезвычайного папахоносца, орудовавшего на третьем столбе.

— Строим веревку для канатных плясунов, чтобы дезертиры поплясали на ней!

— ответил папахоносец, и дети радостно загоготали, вероятно, представляя себе заранее веселую пляску этих утомительных дезертиров. «Веревку плясуна» действительно построили, но, к сожалению, нужно сказать, что этой утомительной игры «плясунов»-дезертиров не увидели ни чрезвычайные папахоносцы, ни названные дети. Два дня спустя после установки столбов наш наирский город пал, влекомый стремительностью событий, и на сооруженной чрезвычайными папахоносцами «веревке плясунов» — о, роковая ирония судьбы! — были вынуждены плясать — представляете ли вы себе? — сам т. Вародян, врач Сергей Каспарыч и Амо Амбарцумович Асатуров — Мазут Амо!.. То была, читатель, страшная ирония судьбы, завершившая стечением столь трагических и славных событий печальную историю этого наирского города... Как раз в день воздвижения «телеграфных столбов» Мазут Амо неожиданно вернулся в город. Дело в том что уже были оккупированы оккупированные районы. Мало того, враг, Вечный Больной, неожиданным чудом перебрался по ту сторону границы и со своими общипанными полками расположился в тридцати верстах от города. Наирские бойцы, точно испуганные бараны, бежали от врага и заполнили город. Не осталось более «дезертиров», которых можно было бы заставить «плясать» на веревке: нельзя же было, в самом деле, всю армию заставить плясать на трех телеграфных столбах! Трудно описать — что представлял собой город. Представь себе, читатель, что однажды утром ты собираешься надеть платье, но каким-то непостижимым образом платье твое расплзлось по швам: берешь рубашку — расходятся все ее части: рукав, воротник; берешь штаны — то же самое. Ко всему этому прибавь еще, что в квартире твоей внезапно вспыхивает пожар. Что тебе делать? Выбраться наружу? Но ведь там женщины, дети. Не выскакивать же голым! Остаться внутри? А тут тебя задушит дым, и в одну минуту тело твое станет лизать ярко-красное пламя пожара. Вот в таком приблизительно безвыходном положении очутился Мазут Амо по возвращении из оккупированных районов. Выражаясь фигурально, все швы города уже расплзлись, части отошли друг от друга, а вокруг уже пылал пожар, и ярко-красные вспышки его постепенно приближались к задыхающемуся от дыма городу. Что оставалось делать Мазуту Амо? Бежать? Остаться? Но как же, скажите на милость, мог бежать Мазут Амо? Может ли бежать душа человека и оставить свое собственное, родное тело на съедение пламени?.. И Мазут Амо остался. Не только остался, но и взял на себя

всю власть. Мазут Амо хотел проявить еще одно последнее сверхчеловеческое усилие, чтоб спасти положение, но положение не спасалось, было поздно, было слишком поздно, и положение не могло бы спасти никакое, хотя бы сверхчеловеческое усилие...

Как, как же мог спасти положение Мазут Амо, когда, как говорили мы, уже расползлись все швы города, и ни один хотя бы самый гениальный портной не мог соединить не только расходившиеся, но и с удивительным упорством начинавшие разваливаться части? За время отсутствия Мазута Амо до такого невероятного развития дошли, как говорится, центробежные силы города, что не было возможности их не только уничтожить, но и нейтрализовать. Всего после месячного отсутствия вернулся в город Мазут Амо — и что же? Первым делом побежал Мазут Амо к крепости, и перед ним открылось... Но то, что он увидел там — пусть не увидит ни один высший командующий/.. Крепость, построенную наирскими царями и в продолжение целых веков подставлявшую свою каменную грудь под удары врагов, эту крепость Мазут Амо нашел в плачевном состоянии. Проснулись, проступили из тьмы годов, из тумана, пробудились в сердце Мазута Амо... мечты. Ужель таким представлял себе он этот день? Ужель такой представлялась в гениальнейшем мозгу его крепость, эта наирская твердыня в те полные надежд и ожиданий отдаленные дни, когда, сидя в конторе «Свет», мечтал об этих днях он, тогда еще только управляющий «Светом» Мазут Амо? Отсюда именно, с этих скалистых твердынь, должны были в желанный день сыпаться снаряды... Отсюда, с гранитных преград должна была опуститься в желанный день непоколебимая и непобедимая мощь племени наирского, как железный кулак на голову врага! Отсюда, с этих неприступных высот крепости должен был взвиться грозный дух наирский — мощь тысячелетняя страны наирской... И вновь должна была радостно воссиять страна тысячелетняя — древняя Наири... Вот о чем мечтал Мазут Амо в ожидании этого дня в бессонные ночи, проведенные в конторе «Свет»!..

Ожидаемый день настал. По неожиданному, сказочному стечению обстоятельств покинули русские войска наирскую землю; по неожиданному, сказочному стечению обстоятельств сразу воплотилась, стала реальностью страна Наири... И что же? Устрашенные ордами Вечного Больного, обезумевшие от страха перед нестройными полчищами Больного, пустились наутек наирские полки. Уцелела лишь крепость, эта наирская твердыня, которая завтра должна быть растоптана ордами Вечного Больного... Куда делась сила, мощь древнего наирского племени? Где железный кулак?.. — Где, где он? — вопрошал Мазут Амо вне себя от ярости. Наподобие Иеговы, вырывая себе волосы, он стоял на

самой высокой башне крепости и, опершись на раскачивающуюся палку наирского трехцветного знамени, взывал к доблести наирских царей. «Где она?» — вопрошал Мазут Амо, но ответа не последовало. Лишь тысячелетние мрачные стены смотрели молча на Мазута Амо, этого последнего, подобного царю, наирянина, вырывающего свои волосы и взывающего к доблести наирской. Не видно было доблести, и молчала крепость. И, стоя на высочайшей башне крепости, опершись на палку трехцветного наирского знамени, горько зарыдал, заплакал Мазут Амо, как на том собрании, и горячие слезы Мазута Амо, этого последнего, подобного царю, наирянина, сожгли тысячелетние стены древней наирской крепости...

— Нет! — ударяя рукой по палке трехцветного наирского знамени, сквозь горькие жгучие слезы воскликнул вдруг Мазут Амо. — Этому не быть! — очнулся Мазут Амо, словно после апоплексического удара, тряхнул головой и, достав платок, вытер глаза. Только теперь он заметил, что вокруг него стояли т. Вародян, врач, несколько наирских генералов и офицеров. Они, затаив дыхание,

молча, как стены крепости, смотрели на Мазута Амо с глубоким почтением.

— Где они? — сверкая искрометными глазами, закричал громовым голосом Мазут Амо. — Где остальные?

Но «остальные», о коих вопрошал Мазут Амо, исчезли точно так же, как доблесть и мощь наирская, к коим взывал незадолго до того Мазут Амо.

Выяснилось, что довольно значительная часть офицерства крепости ночью ушла и не вернулась.

— А где же гарнизон крепости? — более мягко, как бы разбитым голосом продолжал свою ревизию Мазут Амо.

Тов. Вародян показал пальцем. Мазут Амо посмотрел по направлению пальца т. Вародяна, и там, на второй башне крепости, он увидел довольно много наирских лапотников-бойцов, уставившихся оттуда на Мазута Амо.

— Позвольте... — сказал Мазут Амо, — они... умеют ли они палить... из пушек?

— Точно так! — ответил, взяв под козырек, один из генералов, и царственное лицо Мазута Амо озарилось какой-то детской, почти идиотской улыбкой. Понял он, что все кончено. В его мозгу зашевелилась, словно последняя вспышка потухающей свечи, закачалась... страна Наири. Но — «Нет! — воскликнул про себя, напрягая последние силы, Мазут Амо. — Этому не бывать!» — и приказал ввести в крепость новых бойцов, поставить пушки и даже указал направление, куда следовало наводить эти пушки. Потом он сел в экипаж и вернулся в город. В городе его ожидала невероятная радость: с фронта было получено сообщение, что героическим натиском наирские бойцы отбросили врага на

десять верст и заняли вполне устойчивые позиции. Более того, в сообщении говорилось, что, вероятно, вскоре начнется общее наступление и противник будет отброшен до Известного Города. Прочитал Мазут Амо это сообщение, и с сердца его упала свинцовая тяжесть; сомнение и незадолго до того объявшее его отчаяние как бы губкой стерлись с его сердца. Мазут Амо выпрямил спину, согнувшуюся в крепости, и глаза его наполнились энергией и бодростью. Но уже до

этого известия в городе началась невероятная паника. Стекавшие из области беженцы и жители окраин, забрав весь свой скарб, собирались выступить; тысячными толпами наводнили они улицы и шоссе, ведущее на станцию. Более или менее почтенные горожане уже находились на станции, уже отошли несколько составов, нагруженных почтенными жителями города. Трудно описать, что творилось в это время на вокзале. Поддавшаяся панике многотысячная толпа загрохотала платформу. Была такая сумятица, перед которой Вавилонское столпотворение, если таковое действительно когда-либо было, показалось бы детской игрой. Люди топтали друг друга и продвигались вперед, ползли друг по другу, чтоб быть ближе к подходящему поезду. Матери бросали детей вперед, через головы, чтоб самим тоже можно было ползти вперед, но детей душили в общей давке, и матери, не успев доползти до них, выпускали дух, стиснутые со всех сторон. Беременные рожали тут же, стоя, и их крики слышались даже в том невероятном шуме, что подняла обезумевшая от ужаса многотысячная толпа. Мужчины колотили друг друга, женщины впивались ногтями в лица мужчин, — и над всем этим свистели нагайки чрезвычайных папахоносцев. Они нагайками прокладывали себе путь, ведя за собой семьи почтенных наирян, имевших почтенные бумаги от т. Вародяна и Мазута Амо. Но, несмотря на усилия чрезвычайных папахоносцев и невзирая на «почтенные бумаги», им не всегда удавалось достичь своей цели. Толпа, словно озверевший враг, набрасывалась на них и в общей сутолоке мяла как чрезвычайных папахоносцев, так и вверенных их покровительству почтенных обывателей.

Неслыханные, неопишуемые дела творились в то время на станции, но не менее неслыханные и неопишуемые дела имели место и в городе. В городе начались пожары. Покидавшие город наиряне с невероятным наирским рвением предавали огню свои дома и лавки, чтоб они не достались врагу. Местная власть, может быть, и выступила бы против подобного скоропалительного проявления наиролюбства, если б только она располагала временем для размышлений. Но у местной власти не было времени, и население делало то, что подсказывал ему благородный инстинкт наиролюбия. Однако самое

удивительное было

еще не это. Дома и лавки сжигались, скажем, их владельцами, сжигались населением, — но кто же предавал огню учреждения? В городе шли толки, что пожары начались с учреждений. Раньше всего была сожжена контора «Свет», — представляете себе? — его, Мазута Амо, контора, которая временно была закрыта за неимением на складах керосина и свободного времени у Мазута Амо! Контора «Свет» была сожжена за день до возвращения в город Мазута Амо, ночью (утром он уже был в городе), и Мазут Амо, по прибытии своем в город встреченный с неопикуемой помпой, приказал, ценою чего бы то ни было, спасти контору из пожигающих объятий пламени, превративших здание конторы в грудy истлевающего пепла, — спасти книги и счета... Но возможно ли было, читатель, исполнить это?.. Потом стало жертвой огня «Общество Мелкого Кредита», то есть помещение Товарищества, и затем — здание милиции. Рассказывают, что именно после этого и стали демонстрировать покидающие город наиряне свое скоропалительное наиролубство, распространившееся по городу с чудовищной быстротой и наполнявшее улицы своеобразным наиролубческим проявлением, то есть дымом и чадом. Вот в таком именно состоянии находился город, когда Мазут Амо получил с фронта упомянутое выше радостное сообщение. Мазут Амо немедленно созвал военный совет, который постановил: 1) принять исключительные меры в целях предотвращения паники, 2) положить конец пожарам, 3) предписать населению спокойно сидеть на местах, для чего чрезвычайными мерами запретить выезд из города, 4) запретить движение поездов.

По вынесении этого решения, Мазут Амо лично предписал не выпускать со станции составов и через посредство т. Вародяна отправил чрезвычайных папахоносцев на шоссе — вернуть в город бежавшее население или же, в крайнем случае, запретить дальнейшее бегство. Одновременно с этим Мазут Амо велел созвать чрезвычайное заседание Городского Совета, чтобы через него тоже повлиять на настроение населения, но, к сожалению, выяснилось, что отсутствуют все члены Городского Совета: не было ни генерала Алеша, ни лавочника Колопотяна, ни Хаджи Онника Эфенди, ни других. Был налицо лишь один представитель окраины, однажды уже показавший всю свою политическую зрелость внесением предложения о разгроме закрытых лавок, — предложения, из которого, надеюсь, вы помните, что вышло, то есть не вышло ничего. Что бы мог сделать с этим единственный членом Городского Совета Мазут Амо? Мазуту Амо оставалось лишь махнуть рукой и отправиться домой — отдохнуть. И Мазут Амо махнул рукой и решил отправиться домой — отдохнуть. Уже вечерело, и он устал. Ныло у него в мозгу от усталости, и от усталости

томила у него в мозгу... Наири. Нужно было заснуть, отдохнуть, — и, уже сев в экипаж, хотел было Мазут Амо сказать вознице: «Поезжай домой», как вдруг вспомнил он, что давно не было в городе «домашних»: перед поездкой в оккупированные районы Мазут Амо услал из города Ангину Барсеговну и Черноокую Примадонну, дабы освободить от лишнего груза свои плечи, обремененные наирскими заботами...

— Поезжай в крепость! — приказал вознице Мазут Амо и, прислонившись к спинке экипажа, обхватил голову и заснул.

На следующее утро... Ах, если б никогда не настало то утро! — ибо только рассвело это злополучное утро, как оставшееся в городе население, уже значительно успокоившееся и, казалось, ободрившееся благодаря приказу чрезвычайного совета и радостным известиям, полученным с фронта, услышало ружейную пальбу и пушечные раскаты, еще довольно отдаленные, но постепенно приближающиеся. Ни одна сила, ни одно небесное чудо более не было в состоянии удержать «на своих местах» оставшееся в городе население. Всполошилось от ужаса оставшееся в городе население, подобно стаду, насчитывающему десятки и сотни тысяч голов: часть устремилась на станцию, часть потекла по шоссе. Городские дома запылали один за другим, и из объятых пожаром домов, из пламени и дыма таскали что-то отступавшие с фронта наирские бойцы. С уверенностью можно сказать, что с этого момента город уже можно было считать павшим, хотя он таковым еще не считался, так как противник еще не отрезал путь к бегству и все еще возможно было бежать.

Начиная с той минуты, в городе

не было больше никакой власти. Вся власть сосредоточилась в крепости, чтобы оттуда непосредственно руководить военными действиями. Жители центральных частей почти все покинули город, — начинали уже растекаться жители окраин, так что в городе осталась лишь ничтожная часть коренного населения. Но, несмотря на это, город все еще был полон многотысячными разнокалиберными людскими толпами, в большинстве состоящими из крестьян окрестных деревень: их пестрым вереницам не было конца. Телефон Сето, также застрявший в городе по непостижимой беспечности своей, при помощи брата, Кривого Арута, и его вечного закадыки — гробовщика Енока, сжег свою знаменитую кофейню-столовую и, собравши всю свою «челядь», пустился к станции. Надо заметить, что, покуда он сжег кофейню, побежал домой и собрал «челядь», прошло много времени. Его соседи почти все уже покинули свои дома, так что, если не считать некоторых жителей окраин, так и не тронувшихся с места, вереница Телефона Сето среди верениц, покидавших окраинную часть города, была последняя. Жители этой части города, покидая свои дома,

направлялись к шоссе, между тем Телефон Сето решил направиться к станции, надеясь, что с божьей помощью им удастся сесть на поезд. Телефону Сето, как и его «челяди», Кривому Аруту и гробовщику Еноку, удалось сесть на поезд, и это невероятное обстоятельство совершилось не при помощи божьей, а благодаря его, Телефона Сето, стратегическому таланту. Дело в том, что Телефон Сето решил пойти на вокзал не через город, что было бы невозможно, а по горе, хотя путь по горе, ведущий к железной дороге, спускался в противоположную сторону, довольно-таки далеко от станции. Был полдень. Ружейная пальба и пушечный грохот доносились уже отчетливо, когда вереница Телефона Сето спустилась к железнодорожному полотну. Впереди шел сам Телефон Сето, неся на руках своего малыша; сбоку, еле поспевая, с большим узлом бежала его «половина», за нею — Кривой Арут с тяжелым хурджином на плечах, а за Кривым Арутом — гробовщик Енок. Не имея другого богатства, гробовщик Енок нес на спине свою «вокзальную лавочку», то есть изготовленные им собственноручно из старых тарелок весы, несколько каменных гирь и имевшиеся у него чай и колбасу. Дойдя до полотна, они увидели перед собой поезд, битком набитый беженцами и неизвестно по какой причине очутившийся на таком отдалении от станции. Вереница Телефона Сето с божьей помощью остановилась перед открытым вагоном, в котором было «свыше тысячи человек», — как рассказывал впоследствии сам Телефон Сето. У края его уместились Хаджи Онник Манукоф Эфенди и цирюльник Васил. Сочтя, видимо, свои снабженческие функции законченными (кого же они должны были снабжать, раз не было армии?), они решили следовать примеру остальных. — Дай-ка сюда твоего малыша, — сказал Хаджи Сето, и Телефон Сето передал Хаджи своего ребенка.

Затем, при помощи цирюльника Василя, подняли в вагон «половину» Сето. — А вы идите и устройтесь на цепях, — посоветовал Хаджи Телефону Сето, Кривому Аруту и гробовщику Еноку, так как рядом с ними не было места не только для них, но и для иголки.

После долгой ругани, просьб и мольбы им удалось, наконец, взобраться на цепи, то есть на буфера, держась одной рукой друг за друга, другою — за свои товары. В ту же самую минуту тронулся поезд. То был последний поезд, отходящий из этого наирского города. Враг, видимо, приблизился уже к крепости: звуки выстрелов слышались у самых ее стен. Стоявшие на цепях Телефон Сето, Кривой Арут, гробовщик Енок, как и все наиряне, ехавшие на этом последнем поезде, с ужасом во взорах, напряженно смотрели в сторону крепости. И мысль, которую высказал устремивший свой глаз на крепость Кривой Арут, одновременно пронеслась в мозгу всех наирян, находившихся в

поезде...

— А наши-то почему не стреляют? — сказал Кривой Арут в сердцах и не без удивления.

Но, увы, ему не суждено было услышать ответа на этот свой законный вопрос! Не суждено было ему не потому, что не было ответа на этот вопрос, а по той простой причине, что не прошло и двух секунд как не стало Кривого Арута и вместе с ним и его вечного закадыки — гробовщика Енока. Только было произнес эту свою, ставшую впоследствии исторической, фразу Кривой Арут, как с грохотом тронулся поезд. От сильного толчка сорвался хурджин Кривого Арута. Когда же Кривой Арут невольно потянулся за хурджином, последовал новый толчок. Он потерял равновесие... и упал.

— А-а-арут! — испуганно, со слезами закричал гробовщик Енок и нагнулся, чтоб удержать своего друга, но не успел — также потерял равновесие... и сорвался. И в следующую минуту, перерезывая трупы Кривого Арута и гробовщика Енока, этих славных закадык, летел уже обезумевший от страха последний поезд из наирского города, куда вступил враг и где царила смерть, разгром, неслыханная резня, непередаваемый ужас...

Итак, перерезывая славные трупы Кривого Арута и гробовщика Енока, удалился последний поезд из этого наирского города, и противник вступил в город. Мы не станем рассказывать, читатель, о том, что случилось после этого в нашем наирском городе, ибо это сверх наших сил. Скажем только, что в городе застряло множество народу, истребленного потом ордами врага. Но существенное не в этом, читатель, а в том, что в числе оставшихся в городе были т. Вародян, врач Сергей Каспарыч и Мазут Амо... До последней минуты они спокойно стояли на своем посту в крепости и оттуда же попали в окровавленные руки врага. Некоторые из попавших в плен, но чудом спасшихся впоследствии от гибели, рассказывали, что враг на третий день после вступления в город коварно передал их в руки орд, которые и повесили т. Вародяна, врача Сергея Каспарыча и самого Мазута Амо на тех трех телеграфных столбах, которые — о, ирония судьбы! — по приказу т. Вародяна, были возведены чрезвычайными папахоносцами для пляски дезертиров... Бежавшие от врага рассказывали об этом выдающемся происшествии довольно обстоятельно, со всеми душераздирающими подробностями, так что мы на основании этих рассказов можем воспроизвести подробности этого трагического события.

Дело было приблизительно так. Вступив в крепость, офицеры противника нашли т. Вародяна, врача и Мазута Амо стоящими на высочайшей башне крепости; они рвали на себе волосы у трехцветного наирского знамени. При

виде этой непередаваемой скорби наирских главнокомандующих к ним подходят с глубоким благоговением коварные офицеры противника, берут под козырек и с большими почестями доставляют их в город. Рассказывают, что встречавшие их по дороге вражеские офицеры брали под козырек и даже главный паша пожал им руки и выразил свое соболезнование по поводу постигшего их несчастья. Вот с таким исключительным вниманием отнеслось к т. Вародяну, врачу и Мазуту Амо высшее командование противника. Но, по прошествии двух дней, они изменнически были преданы в руки вражеских орд, которые и повесили их, подвергнув предварительно страшным мучениям. Эти вражеские орды справа повесили т. Вародяна, слева — врача и меж ними, посредине, — Мазута Амо. Но самое ужасное и самое страшное было в том, что эти дикие орды противника, как рассказывали, прибили посредине третьего телеграфного столба, над головой Мазута Амо, дощечку, на которой было выведено наирскими буквами: М. А. Ц. Н. что означало: «Мазут Амо Царь Наирский»